Р 49.

Джон Рид
Вдоль фронта

Р 49

ДЖОН РИД

ВДОЛЬ ФРОНТА

69710

ЧИТАТЕЛЬ!
Просим сообщить Ваш
отзыв об этой книге, по адресу:
Москва, Центр, Ильинка, 15,
Информационный Отдел
„З И Ф"

Р 49

Р — 49

ДЖОН РИД

ВДОЛЬ ФРОНТА

(THE WAR IN EASTERN EUROPE)

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
И. В. САБЛИНА, И В. Ф. КОРШ,
С ПРЕДИСЛОВИЕМ А. СТАРЧАКОВА

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУ
№ 69719/8

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА"
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка художника П. Митурича.
Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий“, Москва,
Пименовская улица, 16,
в кол. 6000 экз. 20½ л.
Главлит № А 4042
MCMXXVIII

Государств. публичная
Историческая
библиотека РСФСР
69719/8°

«В этой борьбе я не оставался нейтральным. Но, излагая историю великих дней, я стремился рассматривать факты оком бесстрастного хроникера, заинтересованного в передаче одной лишь истины».

Эти слова, которыми Джон Рид заканчивает свое вступление к обессмертившим его «Десяти дням»,[1] можно было бы взять эпиграфом и к другой, более ранней книге Джона Рида—«В доль фронта».

Книга сложилась из впечатлений автора, объездившего весной 1915 года в качестве военного корреспондента Россию и Балканы. Это была его вторая поездка на европейский театр войны.

Джон Рид попал в Восточную Европу в тот момент, когда германское командование, сосредоточив все свои силы против России, пыталось вывести ее из строя одним ударом.

Как мы уже знаем теперь, именно этот план, такой эффектный по своим внешним результатам, ускорил крушение двух империй. Царская Россия хрустнула под ударом германских фаланг, но в то же время затишье на Западе, купленное ценой крови русского крестьянства, дало возможность подготовиться союзникам к новым исполинским боям, которые в конце концов решили исход войны.

Именно на это затишье жалуется в своей книге Джон Рид, жадно искавший военных впечатлений.

Наскучив однообразием тыловых будней, он пускается на отчаянную авантюру, едва не стоившую ему жизни. Снабженный сомнительными документами, Джон Рид самочинно переезжает через реку Прут, проникает в расположение русской армии, подобно тому как в свое время во Франции, во время боев на Марне, он проник на линию огня.

[1] „Десять дней, которые потрясли мир". (Прим. ред.).

Только счастливое стечение обстоятельств спасло Джона Рида от бессмысленной гибели—он едва не был расстрелян по подозрению в шпионаже.

Книга Джона Рида «Вдоль фронта» не носит характера открытого обличения мировой бойни. Лицо автора прикрыто маской объективного, добросовестного хроникера-корреспондента. Джон Рид пытается с совершенным бесстрастием воспроизводить все то, чему являлся свидетелем. Но, конечно, это не значит, что Джон Рид оставался вообще безразличным свидетелем мировой войны. О том, что у него была своя, вполне определенная точка зрения на события, мы узнаем из литературных и публичных выступлений Джона Рида в Америке в годы 1915—1916. В этих выступлениях Джон Рид без устали обличал виновников мировой бойни, призывая рабочий класс к восстанию.

Сын очень состоятельных родителей, промышленников-аристократов из штата Оригены, Джон Рид получил прекрасное образование: он специально занимался изучением литературы и окончил Гарвардский университет по литературному разделу.

Но уже в стенах университета, несмотря на влияние буржуазной среды, он внимательно изучал мыслителей-социалистов. Не покидая своих литературных занятий,—проза и стихи Джона Рида пользовались популярностью у читателей,—он стал редактором радикальной газеты «The American Journal» и обратил на себя внимание своими глубокими публицистическими статьями.

В конце концов он был привлечен к судебной ответственности за свои антимилитаристические статьи в журнале «The Masses». Это было уже в 1917 году, когда Америка капиталистов и банкиров решила вмешаться в кровавую распрю, раздиравшую Европу.

Однако, желание рассматривать события оком бесстрастного хроникера не могло не отразиться на содержании «Вдоль фронта». Манера корреспондентской записи исключала возможность углубленного анализа событий, обусловливала известную поверхностность изложения.

Поэтому на ряду с правдивыми наблюдениями мы находим в книге и случайный, непроверенный материал, рядом с истиной—необоснованные утверждения, под которыми через год—полтора навряд ли подписался бы Джон Рид.

На некоторых из них стоит остановиться. Накануне войны,—пишет автор,—мы имели в России революционную ситуацию. Революция была смята воинскими наборами, милитаристским натиском.

Это бесспорно.

Но навряд ли можно согласиться с утверждением, что в России в годы войны капиталисты, мелкая буржуазия и пролетариат были настроены «весьма патриотично», ибо парадокс войны заключался в том, что борьба с германцами была в то же время борьбой с русской бюрократией. Спешность корреспондентской работы помешала Джону Риду заглянуть вглубь событий, разгадать истинное настроение масс.

Джона Рида поразила национальная пестрота России, ее многоликость. «Это,—пишет он,—безграничный хаос варварских народностей, в течение целых столетий тупевших от угнетения».

Не имея возможности непосредственно познакомиться с «этим варварским хаосом», наблюдая Россию только из окна вагона, Джон Рид счел возможным приписать насильственному объединению угнетенных народностей старой России «национальное единство чувств и мыслей».

Джон Рид, довольно близко наблюдавший неустроенную и беспорядочную жизнь русского интеллигента, непостижимую для делового американца, перенес эти представления на русский характер в целом. Его характеристика «русской души, загадочной и мистической», мало чем отличается от обычных консервативных представлений европейца о славянине.

Мы не ошибемся, если скажем, что в своей книге «В д о л ь ф р о н т а» Рид литератор и художник главенствует над Ридом политиком и социалистом. Чисто-литературные интересы были всегда очень сильны у автора «В д о л ь ф р о н т а».

Эта двойственность, смешение художественной изобразительности и публицистической остроты характерны для его книги «В д о л ь ф р о н т а».

Художественны и образны описания балканских захолустий, российских равнин, еврейских местечек, нищих, ограбленных румынских и сербских деревень. Перед читателями проходят незабываемо-яркие картины Восточной Европы, сожженной пожаром войны, изъеденной тифом и голодом. Обломки разбитых армий,

десятки тысяч беженцев, спугнутых со своих насиженных веками мест, невыносимые страдания нищеты и распутная роскошь военщины, бесправие масс и варварский произвол администрации показаны в книге с чисто-художественной яркостью.

В то же время публицистически остры те страницы, в которых Джон Рид рисует развал российского бюрократического аппарата накануне революции, бездарность и хищность господствующих классов, провинциальную ограниченность балканских политиков и деятелей.

Книга «Вдоль фронта»—это книга роста: в эти годы в Джоне Риде, радикале-социалисте, созревал большевик-революционер. Эту книгу со всеми ее недостатками и достоинствами должен принять каждый, кто хочет постичь своеобразную фигуру Джона Рида, американца, проделавшего сложный путь от аристократической семьи промышленника из Орегены до бойца на октябрьских баррикадах.

Без этой книги нельзя понять его бессмертные «Десять дней, которые потрясли мир», с таким удовлетворением прочитанные Владимиром Ильичем. «Вдоль фронта»—прелюдия к его книге об Октябре, одним из деятельных участников которого являлся Джон Рид: он приехал вторично в Россию в корниловские дни, в момент нарастания октябрьских событий. Джон Рид должен был пройти сквозь преисподнюю войны, чтобы подняться на высоту социалистической интернациональной революции.

Третьей книги—о буднях строительства, о мирных завоеваниях Октября, не менее величавых, чем его битвы,—Джону Риду написать не пришлось. Осенью 1920 года, возвращаясь со съезда народов Востока, он заболел сыпняком, который столько раз щадил его во время скитаний по Европе, и умер в ночь на 17 октября. Останки Джона Рида погребены на Красной площади, у кремлевской стены, рядом с останками героев Октябрьской революции.

В наши дни, когда хозяева капиталистической Европы готовят народам новые неслыханные испытания, книга Джона Рида—напоминание о подлинных виновниках войны и ее ужасах.

А. Старчаков

ВДОЛЬ ФРОНТА

Когда в августе 1914 года началась война, я немедленно отправился в Европу корреспондентом от «Metropolitan Magazine». Во время своего пребывания в Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии и Бельгии я видел, как сражались три армии. Я вернулся в Нью-Йорк в феврале 1915 года, а месяц спустя Бордман Робинзон и я отправились в Восточную Европу.

Эта книга—описание второй поездки.

Путешествие было рассчитано на три месяца: мы собирались посмотреть вступившую в войну Италию, разрушенную австрийцами Венецию, побывать в Сербии во время последних усилий сербов, понаблюдать Румынию, собиравшуюся вмешаться в конфликт, присутствовать при падении Константинополя, сопровождать русских «на Берлин» и, наконец, потратить месяц на Кавказе для описания варварских боев между казаками и турками.

На самом же деле мы проездили семь месяцев и не видали ни одного из этих крупных драматических происшествий. Если не считать того, что мы попали в великое русское отступление и проскочили через Балканы в начале германских побед, то везде на нашу долю выпадало появляться во время затишья военных действий. И, может быть, именно поэтому мы имели больше возможности наблюдать обычную будничную жизнь восточных стран, протекавшую тогда под гнетом затянувшейся войны. Люди, возбужденные внезапным нападением, отчаянным сопротивлением, захватом и разрушением городов, потеряли, казалось, отличительные свойства личности и расы и стали все на одно лицо в безумном безличии сражений.

Поскольку мы наблюдали, они освоились с войною, как с обычным делом, начали приноравливаться к новым условиям жизни и говорить и думать о посторонних вещах.

Когда мы прибыли в Италию, там господствовала разочаровавшая нас тишина, но тревожные слухи о неизбежном падении

Константинополя побудили нас бросить все и отправиться в Дедеагач. Однако, в Салониках известия из Турции были столь обескураживающе спокойны, что мы сошли с парохода и отправились в Сербию, опустошенную тогда тифом и только что начавшую оправляться от ужасных последствий австрийского вторжения.

Услышав о мобилизации в Румынии, мы поторопились в Бухарест... но нашли там больше дыма, чем огня.

Константинополь держался. Мы собрались сделать короткий наскок на Россию и вернуться, когда положение в Дарданеллах станет интересней. Русский посланник был вежлив, но уклончив. «Вам нужно,—сказал он,—поехать в Петроград и через ваших посланников официально исходатайствовать разрешение отправиться на фронт». Однако, приезд трех обозленных корреспондентов, которые, вняв такому совету, без толку прождали в Петрограде три месяца, обескуражил нас.

В это время началось русское отступление от Карпат, и бои шли к северу от Черновиц, где сходились границы России, Австрии и Румынии. Представитель Америки в Бухаресте любезно дал нам список американских подданных, которых мы могли бы повидать во время нашей поездки, и, вооруженнные этой слабой защитой, в маленькой лодке переехали мы ночью Прут и высадились на русской стороне.

Подобных случаев еще не бывало. В приказах строго запрещалось допускать корреспондентов в эту местность, но приказы имели в виду корреспондентов, прибывавших с севера. Мы же приехали с юга, и поэтому, не зная, что с нами делать, нас отправили на север. Мы пропутешествовали позади русского фронта через Буковину, Галицию и Польшу, где провели две недели в тюрьме. Освобожденные в конце концов, мы поехали в Петроград, но попали из огня да в полымя. Повидимому, власти собирались расстрелять нас. Американское посольство омыло руки относительно меня, но Робинзон—канадец родом—пошел в британское посольство, и британский посланник окончательно высвободил нас и помог выбраться из России. Нечего и говорить, что на Кавказ мы уже не поехали.

Немного спустя, в Бухаресте, я решил посмотреть Константинополь, который казался спокойней и в большей безопасности, чем когда-либо. Робинзон не мог ехать, потому что у него был

английский паспорт. Энве-паша сначала обещал мне дать возможность отправиться на Галлипольский фронт. Но спустя две недели он сказал, что американцам воспрещен доступ в район действующей армии, так как один корреспондент, возвратившись в Париж, описам там расположение турецких укреплений. Приблизительно в это же время меня неофициально предупредили, что мне лучше покинуть Турцию, ибо полиция обратила внимание на мои частые разговоры с армянами.

На болгарской границе меня задержали и приказали вернуться в Турцию—мой паспорт не был как следует завизирован. У меня не было денег. Угрюмый начальник болгарской полиции не захотел ни снестись с американским посольством, ни разрешить мне сделать это самому. Так что, когда отходил поезд на Софию, я вскочил в него, схватившись за поручни багажного вагона, влез на крышу и скрылся в поле, когда поезд был остановлен и обыскан солдатами.

В Бухаресте я встретил Робинзона, и мы вместе отправились в Болгарию, которая находилась тогда накануне войны. Когда объявили мобилизацию, мы удрали в Сербию, во-первых, потому что Робинзон был англичанин, а во-вторых, потому что Пресс-бюро известило нас, что корреспонденты в армию допускаться не будут. В Сербии мы рассчитывали на гостеприимный прием. Но узнали, что сербы читали два наших первых очерка о них, и они им не понравились. Нам сообщили, как факт, что, когда начнутся военные действия, нас, вероятно, вышлют из страны. К тому же мы уже достаточно насмотрелись на Балканы. Мы уехали.

Положительно ничего особенного не случилось в Салониках. Мы пробыли здесь четыре—пять дней, по городу ходили обычные слухи, и мы не могли с уверенностью сказать, можно ли ждать каких-либо крупных событий. В конце концов мы сели на пароход, чтобы отплыть в Италию и Америку.

И, конечно, вышло так, что мы выехали как раз в тот момент, когда немецкие и австрийские армии нахлынули в Сербию, Болгария атаковала ее с тыла, а английские и французские войска находились только в шести часах пути от Салоник. Но мы предоставили воевавшие страны их собственной судьбе и устремились в Нью-Йорк, куда и приехали в конце октября.

Когда я оглядываюсь на все это, то мне кажется, что важней всего,—чтобы знать что-либо о войне,—это понаблюдать жизнь различных народов, окружающую их среду, их традиции и мелочи повседневной жизни. В мирное время многие свойства человеческой натуры скрыты и выявляются только во время острых кризисов. С другой стороны, много алчных и расовых особенностей тонет во время великих общественных потрясений.

И в этой книге Робинзон и я просто попытались дать свои впечатления о том, что видели в странах Восточной Европы с апреля до октября 1915 года.

Джон Рид

Нью-Йорк
20 марта 1916

САЛОНИКИ

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Английский шпион пересчитывал сдачу и спорил с итальянским слугой, который вынужденно сдавал сдачу пенни за пенни, хныча: «А, синьор, я такой бедняк! Я хорошо вам служил! Вы все забираете!»

— Это случилось за неделю до объявления войны,— продолжал англичанин, не обращая на него никакого внимания.—Британское посольство послало меня узнать расположение двух турецких армейских корпусов, отправившихся в Малую Азию. Я доехал в лодке до Кили на Черном море и двенадцать дней путешествовал на телеге. Куда бы в деревню я ни приезжал, я изображал из себя английского коммивояжера, ищущего новых торговых путей. Я целыми часами говорил с турками про рис, пшеницу, пути сообщения, о калькуттском «ганни»,[1]—вы и понятия не имеете, как это скучно!— и потом только выпытывал то, что мне нужно. Когда я обнаруживал что-нибудь интересное, я писал в британское посольство в Константинополь в выражениях, касающихся калькуттских тростниковых цыновок. Я нашел армейские корпуса: они выступали в Армению и двигались быстро. Объявление войны застигло меня

[1] Ганни — грубая материя, из джута или пеньки, идущая обычно на изготовление мешков. (Прим. ред.).

на Пера. Я двинулся дальше, путешествуя по всей стране в телеге, с американским паспортом.

На палубе шумели пассажиры. Это были преимущественно женщины и дети, возвращавшиеся из Европы через Салоники, Ниш, Софию и Бухарест—единственный тогда открытый путь на Варшаву. На пароходе были также русские; один австриец; немец с гейдельбергскими шрамами на щеке, который говорил по-итальянски с грубым тевтонским акцентом и выдавал себя за неаполитанца; парижанка, вероятно, кокотка; французский корреспондент, одетый как Рудольф из оперы «Богема»; болгарский дипломат, манипулирующий черепаховым лорнетом, и целый рой неописуемых балканских жителей, национальность которых невозможно было определить.

Быстроходный пароход «Torino» через три дня пути из Бриндизи пристал к греческому берегу выше Пирея. Сидя за кофе, мы могли видеть перед гаванью красно-бурый мыс Суниум в белом солнечном свете, врезающийся в Эгейское море, и развалины храма на его светло-желтой вершине, на фоне огромных бесплодных гор; с правого борта, на море синели туманные островки, подобно голубым облакам, а между ними трепетали широко-раскинувшиеся двойные скошенные паруса—белое с красным,—подобно растопыренным крыльям чайки,—на ярко раскрашенных судах с приподнятыми кормой и носом, с изогнутой почти до воды серединой и с развешенными вдоль бортов, для защиты от брызг, темными бычьими шкурами.

Где в ближайшее время разразится война? Румыния призывала свои резервы под знамена. Италия колебалась перед последним решением. Пассажиры вступали в

бесконечные и тревожные обсуждения вопроса, выступят ли Греция и Болгария, и на чьей стороне. Каждую минуту они могли быть отрезаны от родины и осуждены на бесконечное странствие по нейтральным водам, могли быть захвачены в плен при высадке и заключены в концентрационные лагеря, могли быть сняты с парохода вражеским крейсером как союзники неприятеля. Удивительно, как эти люди, привыкшие к комфортабельной жизни в цивилизованной и мирной Европе, без всякого удивления быстро применялись к неудобствам путешествия. Шестидесятичасовой переезд в деревянных вагонах третьего класса от зачумленных Салоник через зараженную тифом Сербию, через болгарскую границу, вдоль железнодорожной линии, где разбойничали банды комитаджи; потом София, где карантинные власти держали их, как скотину, в вагонах в продолжение шестичасовой остановки; граница, где румынские и болгарские армии ревниво подстерегали друг друга на берегах Дуная; день или два езды до России, и потом убийственная неопределенность медленных воинских поездов, ползущих через местности, находящиеся под угрозой австрийского наступления.

В разговор вмешался один армянский купец из Константинополя. Он отрекомендовался как окончивший американскую миссионерскую школу,—Робертс-Колледж—где, как говорят на Востоке выращивается больше беспринципных политиков и финансовых дельцов, чем в каком-либо другом учреждении мира. Помахивая сигарой, зажатой между толстыми пальцами, покрытыми драгоценными камнями, он говорил о турках и о их религиозных предрассудках, с которыми он столько лет борется.

— Да, я турецкий подданный,—говорил он,—как и мои предки. Турки—прекрасный народ: гостеприимный, общительный и честный. Я ни в чем не могу упрекнуть их, но, конечно, я на стороне союзников. Когда англичане возьмут Дарданеллы, вот тогда пойдут настоящие дела! Тогда можно будет сколотить капиталец!

Мы плыли мимо покатого плоскогорья, на зеленых склонах которого громоздились приземистые, крытые красной черепицей домики турецких деревушек со стройными серыми минаретами. Впереди мутные воды Салоникского залива открывали широкий вид на длинные холмы, переходившие к северу в зубчатые горы,—это Балканы.

Вдали залив окаймляли белые стены, круглые башни и ряд ослепительных зданий, и среди бесплодного пейзажа скоро вырос серый и желтый город, вскарабкавшийся на отвесный холм, далеко выступающий над морем,—город покатых разноцветных крыш, круглых куполов, сотен острых минаретов, город, окруженный высокой зубчатой стеной и построенный во времена Латинского королевства,—Салоники—восточные ворота войны!

Большое французское судно ошвартовывалось в доках. Его лебедки лениво покачивались, спуская пушки из башенок на берег, где работала толпа французских моряков, стуча молотками при тусклом пламени горна.

Наш приятель-армянин указал на него с улыбкой.

— Судно из Дарданелл,—пояснил он,—я видел его там, когда проезжал девять дней тому назад, и они еще называют Салоники нейтральным портом!

С берега до нас долетали крики арабских носильщиков, шум базара, странное, унылое пение черноморских

и малоазийских моряков с побережья, поднимающих косые паруса на судах с изображением глаз на носу, судах, форма которых древнее самой истории; призыв муэдзина, крики ослов, пронзительная плясовая музыка дудок и барабанов в каком-нибудь обнесенном решеткой домике далекого турецкого квартала; рой радужно окрашенных лодок, набитых смуглыми босоногими пиратами, сталкивался между собой в крикливом шуме драки, как и двести лет тому назад.

Ялик с большим греческим флагом подвез военного врача, который еще с трапа крикнул:

— Никому нельзя на берег, если хотите вернуться на судно. Город в карантине—чума.

На нашей мачте спустили желтый флаг, и к судну бросились ярко раскрашенные лодки; в каждой из них стоял полуголый коричневый человек в феске и тюрбане, крича во все горло и бешено проклиная своих соперников. Большая шлюпка под русским флагом за кормой показалась у нашего борта. В ней, выпрямившись, стоял гигант-казак в длинной, опушенной мехом, черкеске темно-красного цвета. Высокая меховая шапка с красной с золотом каймой покрывала его крупную голову; у него серебряная перевязь, огромная изогнутая серебряная сабля и пистолет с серебряной рукояткой за поясом. В другой лодке, под болгарским флагом, сидели кавасы болгарского консульства, одетые в синее, с перевитыми серебром шнурами и кистями. Мы, спотыкаясь, сошли по трапу, волоча свой багаж, и были подхвачены двадцатью жадными руками; нас разрывали до тех пор, пока здоровенный лодочник не расшвырял с победным криком всех остальных. Дул сильный южный ветер; когда мы вышли с подветренной

стороны парохода, короткие желтовато-зеленые волны разбивались о борта и обдавали нас брызгами. Потом мы заплатили чрезмерную плату за высадку и принялись пробивать себе дорогу к улице.

Роскошные экипажи на резиновых шинах, управляемые арабами в тюрбанах, среди высоких современных кэбов, везли закрытых вуалями дам из турецкого гарема; под тяжестью пишущих машин и фонографов сгибались носильщики в невероятных заплатанных штанах и мешках, времен Синдбада-Морехода. Так попали мы в Салоники, где Пьер Лоти встретил Азиадэ, где сталкиваются лицом к лицу Восток и Запад.

В древности здесь была Фессалоника. Позже Александр спускал здесь на воду свой флот. Это был один из свободных городов Римской империи, византийская столица, уступавшая только Константинополю, и последняя твердыня того романтического Латинского королевства, где разбитые останки крестоносцев отчаянно бились за Левант, который они завоевали и потеряли. Гунны, славяне и болгары завоевывали город. Сарацины и франки штурмовали его искрошенные желтые стены, убивали и грабили в его извилистых уличках; греки, албанцы, романцы, норманны, ломбардцы, венецианцы, финикияне и турки поочередно владели городом, и апостол Павел надоедал ему своими посещениями и посланиями. Австрия почти завоевала Салоники в середине второй Балканской войны, Сербия и Греция разорвали из-за них Балканский Союз, а Болгария ринулась в гибельную войну.

Салоники—город всех наций и ни одной в частности,—сотня городов, каждый со своей особой расой, обычаями и языком. До половины отвесного холма

тянутся извилистые улички и нависающие решетчатые балконы турецкого города; на северо-западе—разрушающийся квартал болгар; румыны живут внизу, а сербы ближе к заливу. Восточнее, группируясь вокруг старого ристалища, живут греки с эллинскими и византийскими обычаями, сохранившимися в продолжение полутора тысяч лет; а к западу обитают албанцы, таинственный народ, который, как предполагают, бежал на запад из Азии при разгроме Хеттитского царства [1]. Центр города занят большой общиной испанских евреев, изгнанных из Испании при Фердинанде и Изабелле. Они говорят на испанском языке пятнадцатого столетия, но пишут еврейскими значками; язык синагоги тоже испанский; но половина из них перешла сто лет тому назад в магометанство, чтобы ублаготворить турок, своих владык, а теперь, когда турки ушли, они живут в путанице мистических сект, занимаясь черной магией и исповедуя вечно меняющуюся смесь всех религий.

Мужчины все еще носят туфли на застежках, длинный плащ и высокую войлочную шапку, обмотанную тюрбаном. Женщины одеты в богатые цветные юбки, тонкие белые рубашки, мягкие шелковые куртки, отороченные мехом, носят золотые бусы и серьги и шелковые зеленые шляпы, скрывающие их волосы, украшенные жемчугом, тяжелые от латунных украшений и обвязанные широкими цветными лентами, означающими, кто они—девушки, замужние или вдовы. Дома их все различны,—таким мог быть солнечный уголок богатого

[1] Хетты, хетты—древний народ, основавший могущественное царство на реке Евфрате в X—XIII веке до Р. Х. и покоренный потом ассирийцами. (Прим. ред).

испанского «джюдериа» в Толедо пятьсот лет тому назад.

Все языки западного мира слышны на узких, шумных, заполненных толпой улицах: испанский—торговый язык среди туземцев; французский—международный язык; Германия, проникая на Восток, распространила немецкий язык; итальянский—изысканный язык высших классов; арабский и турецкий надо понимать, потому что слуги—арабы и турки; греческий—универсальный, а сербский, болгарский и албанский—простонародный, потому что Салоники порт для всех Балкан.

Однажды вечером мы сидели, попивая свою «мастику», род греческого абсента, в местном мюзик-холле. Первой в программе выступала греческая певица, исполнявшая румынские любовные романсы на испанском языке; ее сменили русские танцоры и немецкий декламатор из Вены, говоривший по-французски. Выступил также бродячий американский комедиант, одетый в семь курток, с какими-то остроумными надписями, нарисованными еврейскими знаками на спине каждой из них.

На Площади Свободы, на закате, маленькие мраморные столики кафэ заполняют улицы до середины, и тут, под звуки музыки греческого военного оркестра, пьет и прогуливается живописная толпа, загнанная историей и войной в Салоники. Кроме греческих, видны французские, английские, русские и сербские офицеры в полной форме, с саблями; элегантные молодые люди, изгнанные из Белграда войной и чумной эпидемией; варварские кавасы всех консульств, отгоняющие босоногих носильщиков; рыбаки из «Арабских ночей»; греческие священники, мусульманские хаджи, еврейские

раввины в священных шляпах, с почтенными бородами; женщины в покрывалах; турецкие и немецкие шпионы.

К северу Улица Свободы выходит на «чарше»—шумный базар, где, сидя с поджатыми ногами, турки задумчиво перебирают старый янтарь, хрупкий изумруд и ткани из Бухары и Самарканда. Внизу, влево от узкой, крытой улички с пылающими звучными красками восточного узора и шаткими окнами, загроможденными кучами пыльных стопок старого золота и потрескавшейся бирюзы, тянется Улица Серебряных Кузнецов, где бородатые кузнецы, сидя на корточках на высоких лавках в своих курятниках, чеканят куски неотделанного серебра. После полудня базар полон гомоном и толкотней: арабские носильщики, шатающиеся и покрикивающие под ударами и пинками; слуга, расчищающий дорогу перед каким-нибудь богатым местным землевладельцем, одетым в белое полотно, с цепью из грубых золотых бус на шее, сидящем на муле, покрытом красной с синим попоной; продавцы лимонада в фесках, с медными кувшинами на спине и медными кружками, звякающими у них на поясе; лавочники, переругивающиеся с одного тротуара на другой; мальчишки-газетчики, выкликающие последние новости.

Идя по улице, которая некогда была частью великого римского пути от Адриатики на Восток, мы заблудились в бесконечных извилистых переходах, среди развалин мраморной арки, покрытой высеченными фигурами греческих воинов, слонов, верблюдов и странных народов Индии. Неожиданно мы вышли на маленький неправильной формы открытый рынок, зажатый среди теснящихся лавок и домов. Под огромным раскидистым платаном теснились лотошники с навесами из тряпок,

под которыми на зеленых листьях лежали золотые, голубые и серебряные рыбы, стояли корзины с яйцами, горшки с зелеными и коричневыми плодами и грудами красного перца. Живые цыплята, жалобно пища, висели связками на ветвях дерева; визжали поросята со связанными ногами; македонские земледельцы в белой полотняной одежде, вышитой цветными нитками, еврейские женщины в шелках бледных тонов, турки и цыгане торговались, ругались, воровали овощи, когда торговец отворачивался, шатались среди толпы, с наполненной доверху корзиной на голове.

Мы заказали кофе в маленьком грязном греческом кафэ и стали наблюдать рынок. Какой-то греческий солдат долго, пристально смотрел на нас, и наконец подошел.

— Откуда вы?—спросил он.—Чем занимаетесь?

Мы ответили ему. Его лицо просияло, и он протянул каждому из нас руку.

— Я провел восемь лет в Америке,—сказал он.—У моего брата кондитерская на Мэзон-Сити; я везде побывал—в Канзасе, Колорадо, Нью-Йорке, Иллинойсе. Я работал чистильщиком сапог в Спрингфильде в Иллинойсе.

— Вы вернетесь туда?—спросили мы.

— Конечно, я поеду обратно,—воскликнул он, скаля зубы.—Я приехал, чтобы участвовать в балканской войне, теперь мне осталось прослужить только три месяца—и тогда я свободен. Я вернусь назад в прекрасную страну, в мою Америку.

— Не хотите ли выпить?—предложили мы.

Он покачал головой.

— Нет, я вас угощаю. Это ресторан моего отца. Американцы всегда принимали меня радушно, когда я бывал в Америке, я люблю встречаться с американцами. Меня зовут Константин Шаркирис.

Подошли двое других солдат и подсели к нам. Они вступили в горячую беседу с Константином и под конец излили на нас целый поток пылких слов.

— Эти парни не говорят по-английски,—сказал Константин,—вот у этого шесть братьев в Америке, а у этого сестра и отец. Оба они говорят, что Америка—великая, могущественная страна. Мы поедем в Америку после войны.

— Вы хотите, чтобы Греция вступила в войну?—спросили мы.

— Нет,—он покачал головой.—Македония не хочет войны. Мы хотим мира в Греции.

— А что вы думаете о Венизелосе?

Он засмеялся.

— Венизелос хочет войны. Если бы я стоял за Венизелоса, меня бы уж теперь убили. Мы любим Венизелоса: он освободил нас. Но мы не хотим войны. Король? О, мы не считаемся с ним, он—ничто.

— Мы в Новой Греции очень несведущи в политике. Мы еще никогда не участвовали в выборах, так что же мы можем знать о политике? О! я люблю Америку!—воскликнул он восторженно.—В Америке я, как с братьями, со всеми моими друзьями, здесь не жизнь для человека, здесь не наработаешь денег.—Он помолчал.—Мы—македонцы,—заключил он,—мы—дети Александра Великого.

Когда мы ночью возвращались домой по темным улицам, два каких-то греческих солдата прошли мимо нас.

Когда они отошли немного, один из них круто обернулся.

— Держу пари, эти два чудака—американцы,—сказал он.

— Хелло, Билль!—окрикнули мы.

— Хелло!—Они вернулись назад.—Я знаю, вы американцы. Я жил семь лет в Штатах. Два года мне надо прослужить в армии, потом я поеду обратно.

— А скажите, вы хотите, чтобы Греция вступила в войну?—спросили мы.

— Разумеется, мы хотим, чтобы Греция выступила! Мы завоюем Константинополь. Нашего короля зовут Константин, и Константинополь был прежде греческим! Помните? Мы войдем опять в Константинополь вместе с Константином. Завоевать! Конечно, мы любим сражаться—завоевать Сербию, Болгарию, Румынию, Италию—все!

— Вы откуда родом?

— Мы из Спарты!

Так как мы изо дня в день слонялись по всему городу, то десятка два людей окликали нас на ломаном американском языке—солдаты, лавочники и даже мальчишки-газетчики. Внизу около гостиницы находилась обитая плисом чистильня сапог, которой верховодил грек с огромными усами.

— Хелло, молодцы!—сказал он.—Рад вас видеть. У нас отделение фирмы Георга на Сорок Втором авеню в Нью-Йорке. Георг—это мой брат.

И он не позволил нам заплатить за чистку.

Лавки были полны американской обувью с широкими носами, американской ученической одеждой с набитыми горбами на плечах и пуговицами на самых неожиданных

местах, американскими часами, ценою в один доллар, и американскими безопасными бритвами.

Повидимому, все мужское греческое население Салоник побывало в Америке.

— Америка—свободная страна, где можно разбогатеть. Да, мы, греки, гордимся тем, что мы—греки (он пожал плечами), но невозможно жить в Греции.

И все они собирались ехать туда обратно, когда кончится война и пройдет срок их военной службы.

В Сербии, Болгарии и Румынии мы встречали других, которые тоже жили в Америке и заразились денежной лихорадкой. Горячее, неблагоразумное чувство, называемое патриотизмом, было сильно в них,—они любили свою страну и умерли бы за нее,—но они не могли жить в ней. Они испытали более сильное биение пульса жизни; они познакомились с цивилизацией, где зреет невидимый будущий новый мир.

ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА ВОИНЫ

Этим путем шли летучки американского Красного Креста, иностранные медицинские миссии в захваченную тифом Сербию—ветераны-доктора и крупные, здоровые сиделки, смеющиеся над опасностью и хвастающие тем, что они сделают; и сюда же возвращались исхудалые, еле держащиеся на ногах, оставшиеся в живых, чтобы рассказать, как умирали их товарищи.

Они все еще прибывали. Когда мы были в Салониках, через них прошли три новых английских экспедиции—сто девяносто человек. Бодрые молодые девушки, необученные и неприспособленные, без малейшего представления о том, как им себя держать, изучали колоритные улицы и базары.

— Нет, у меня нет никакого опыта сиделки,—говорила одна,—но ведь кто-нибудь должен же ухаживать за больными, не так ли?

Лейтенант британской военно-медицинской миссии услыхав это, покачал в отчаянии головой.

— Какие безумцы в Англии позволяют таким ехать!—воскликнул он.—Ведь это почти верная смерть. И они не только бесполезны, но и в тягость. Они первые сваливаются, и нам же приходится ухаживать за ними.

Разумеется, каждые пять минут рождались новые слухи. Днем и ночью эфемерные газетные листки наводняли улицы и кофейни огромными, пугающими заголовками:

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПАЛ!

Сорок тысяч англичан погибло на полуострове!

Турецкие революционеры избивают немцев!

Однажды вечером возбужденная толпа солдат пронеслась, ликуя, по набережной с криком: «Греция объявила войну!»

Шпионы наводняли город. Немцы с бритыми головами и сабельными шрамами выдавали себя за итальянцев; австрийцы в зеленых тирольских шляпах сходили за турок; глупо выдававшие себя своими манерами англичане пили в грязных кофейнях, болтая и подслушивая разговоры на шести языках; изгнанники магометане старо-турецкой партии составляли по углам заговоры; греческие сыщики и шпионы переодевались по несколько раз в день и меняли форму своих усов.

Иногда со стороны востока на гладкой поверхности моря медленно вырастало французское или британское военное судно, ошвартовывалось в доках и чинилось. Тогда город днем и ночью кишел пьяными моряками.

Салоники были чем угодно, но только не нейтральным портом. Кроме расхаживавших по улицам армейских офицеров, каждый день можно было видеть приход английского судна с обмундированием для сербского фронта. Ежедневно в темных горах по направлению

к северу исчезали вагоны, нагруженные английскими, французскими и русскими пушками. Мы видели, как английская канонерка в специальном вагоне пустилась в дальнее путешествие к Дунаю. И через этот же порт провозили французские аэропланы с пилотами и механиками; проходил русский и английский флот.

С утра до вечера текли беженцы: политические изгнанники из Константинополя и Смирны; европейцы из Турции; турки, боящиеся великого разгрома, когда падет империя; левантийские греки. Из Лемноса и Тенедоса беженские лодки занесли чуму, захваченную среди индийских войск и распространившуюся в скученных нижних кварталах города. Постоянно можно было наблюдать по улицам скорбные процессии,—мужчины, женщины и дети с окровавленными ногами ковыляли возле разбитых повозок, наполненных поломанным домашним скарбом жалкого крестьянского хозяйства; сотни греческих монахов из монастырей Малой Азии, в поношенных черных рясах, в высоких, пожелтевших от пыли скуфьях, с ногами, обмотанными тряпками, и с мешком за плечами. В обшарканных дворах старых мечетей, под колоннадой синих и красных портиков, женщины в покрывалах, с черными шалями на головах, тупо смотрели перед собой или тихо плакали о своих мужьях, взятых на войну; дети играли среди заросших травой гробниц хаджи; барахло в скудных узлах кучами валялось по сторонам.

Однажды поздно вечером мы шли по пустынному кварталу доков и складов, такому шумному, оживленному днем. Из одного освещенного окна доносились

звуки топота и пения, и мы заглянули туда через грязное оконное стекло.

Это был приморский трактирчик—низкое сводчатое помещение, глинобитный пол, грубые столы и табуреты, горки темных бутылок, пивные боченки и всего только одна вонючая лампа, шатко висевшая на потолке. За столом сидело восемь мужчин, заунывно тянувших восточную мелодию и отбивавших такт стаканами. Вдруг один увидал наши лица в окне, все замолчали и вскочили. Дверь открылась—протянулись руки и втащили нас внутрь.

— Entrez! Pasen Ustedes! Herein! Herein! [1]—кричала вся компания, шумно толкаясь вокруг нас, когда мы вошли в помещение. Коротенький плешивый человек с бородавкой на носу раскачивал, как насос, наши руки вверх и вниз, приговаривая на жаргоне из разных языков:

— Пить, пить! Чего вы хотите, друзья?

— Но мы приглашаем вас...—начал я.

— Это мое заведение! Иностранцы никогда не будут платить в моем заведении! Вина? Пива? Мастики?

— Кто вы?—спрашивали другие.—Французы, англичане? А, американцы! Мой двоюродный брат, его зовут Георгопулос, живет в Калифорнии. Вы его знаете?

Один говорил по-английски, другой—на ломаном французском, третий—по-неаполитански, четвертый—на левантийско-испанском жаргоне, а другие—на ломаном немецком; все говорили по-гречески и на своеобразном наречии средиземных моряков. Война загнала их

[1] «Войдите» — по-французски, по-испански и по-немецки. (Прим. ред.).

ИНСТИТУТ КРАСН. ПРОФЕССУ
№

с четырех сторон Европы в эту темную лачугу в салоникских доках.

— Как это странно,—сказал человек, говоривший по-английски,—мы встретились здесь случайно, никто из нас раньше и понятия не имел о других. И мы все семеро—плотники. Я грек из Кили на Черном море, и он грек, и он, и он—из Эфеса, Эрзерума и Скутари. Этот человек—итальянец, он жил в Алеппо, в Сирии, а этот вот—француз из Смирны. Прошлую ночь мы сидели здесь, и он заглянул в окно, так же, как и вы.

Седьмой плотник, который молчал до сих пор, проговорил что-то на языке, похожем на немецкий. Хозяин перевел:

— Он армянин. Он говорит, что вся его семья вырезана турками. Он пробует говорить с вами на немецком языке, которому научился, работая на Багдадской железной дороге!

— К чорту все!—закричал француз.—Я потерял жену и двоих детей! Я бежал, спрятавшись в рыбацкой лодке...

— Бог знает, где мой брат,—итальянец покачал головой.—Его взяли в солдаты, нам не удалось бежать обоим.

Хозяин кабачка принес вино, и мы подняли стаканы за его радушное гостеприимство.

— Он уж такой,—итальянец объяснялся жестами.—У нас нет денег. Он дает нам есть и пить, и мы спим здесь на полу, несчастные изгнанники. Бог, конечно, вознаградит его за милосердие!

— Да, да. Бог вознаградит его,—подтвердили, выпивая, и другие. Хозяин начал прилежно креститься по обычаю православной церкви.

— Бог знает, что я люблю компанию,—сказал он.— А разве можно отвернуться от лишенных всего людей в такие времена, как наши, а особенно от людей с такими талантами. Кроме того, плотник хорошо зарабатывает, когда работает, и я получу свое.

— Вы хотите, чтобы Греция вмешалась в войну?— спросили мы.

— Нет!—закричали одни, другие задумчиво покачали головой.

— Оно вот как,—медленно заговорил грек, говорящий по-английски.—Это война оторвала нас от наших домов и нашей работы. Теперь нет работы для плотников. Война все разрушает и ничего не строит. А плотнику нужны постройки...

Он перевел свои слова молча слушавшей аудитории, и все громко зааплодировали.

— Но как же относительно Константинополя?

— Константинополь Греции! Греческий Константинополь!—закричали двое плотников. Но другие принялись горячо возражать им.

Итальянец вскочил и поднял стакан:

— Eviva интернациональный Константинополь!—крикнул он.

Все вскочили с восторженным криком:

— Интернациональный Константинополь!

— Давайте споем для иностранцев!—предложил хозяин.

— А что вы пели, когда мы вошли?—спросил Робинзон.

— Арабскую песнь, а теперь мы споем настоящую турецкую!

Откинув голову назад и раздув ноздри, все они залились в стонущем рыдании, ударяя по столу загрубелыми пальцами, так что стаканы дрожали и звенели.

— Пейте больше!—закричал содержатель кабачка.— Что за пение без выпивки?

— Бог наградит его!—бормотали хрипло семеро плотников.

У итальянца оказался сильный тенор, он спел «La donna é mobile», в которую другие внесли восточные напевы. Потребовали американскую песню, и мы с Робинзоном были вынуждены спеть четыре раза подряд «John Brown's Body».

Затем музыку сменили танцы. В мигающем свете тухнущей лампы хозяин дирижировал «коло» —национальным танцем всех балканских народов. Грубые сапоги тяжело стучали, руки раскачивались, пальцы щелкали, рваные одежды развевались в полумраке теней и желтом отблеске... Следуя арабскому темпу, все раскачивались в скользящих фигурных шагах и медленно кружились с закрытыми глазами. Под утро мы еще учили всю компанию «бостону» и «терки-тротту» ...[1] Так окончилась наша встреча с семью плотниками в Салониках.

Перед вечером мы прошли по шумному «чарше» мимо префектуры, с часовыми, одетыми в белые балетные юбки и туфли с загнутыми носами, украшенными зелеными помпонами, и взобрались по крутым извилистым уличкам турецкого города. Обогнув на углу маленькую

1 «Индюшиный шаг» — американский танец негритянского происхождения. (Прим. ред.).

розовую мечеть с серым минаретом, окруженную высокими кипарисами, мы прошли по улицам, увешанным коврами, «шахничарами», за которыми шелестели и хихикали таинственные женщины—все, без сомнения, несказанно прекрасные. Внутри «ханэ» [1] мелькал слабый свет; мимо проходили длинные вереницы нагруженных ослов; лежали сложенные кучами по углам связки седел; турки, торговцы и крестьяне сидели, поджав ноги, в тени за своим кофе. Резкие, темные тени ложились поперек вымощенного булыжником двора, и оживленно проходили женщины, неся на плечах, в солнечных бликах, раскрашенные глиняные кувшины с водой.

Позади гуторил турецкий рынок с его досужей ленивой толпой. Вдоль улицы, по обеим сторонам, вперемежку с лотками мясников, корзинами с рыбой, грудами овощей и связками цыплят, расположились кофейни, где торговцы сидели, покуривая из своих чубуков. Здесь мы увидали хаджи—святого человека в зеленом тюрбане, который совершил паломничество в Мекку; танцующих дервишей в высоких серых шапках и длинных блестящих одеждах пепельного цвета; деревенских фермеров в грубых красных и суровых холщевых одеждах, и безбородых евнухов, сопровождающих скрытых под покрывалами жен из гарема.

Дальше по мощеной булыжником улице шум внезапно сменялся тишиной. Здесь шептались за решетками окон, и встречался только случайный осел уличного торговца; изредка проходили к водоему женщины

[1] Ханэ — по-турецки—приставка, означающая торговое предприятие, напр.: чай-ханэ (чайная), кавиар-ханэ (икорный ряд) и т. д. (Прим ред.).

с закрытыми лицами и с кувшинами у бедра. Ведущая вверх дорога неожиданно перешла в неправильной формы открытую площадку, осененную тенью огромного векового дерева, под которой две—три маленькие кофейни приютили несколько созерцательно куривших посетителей; некоторые из них сидели, поджав ноги, на краю площадки и медленно разговаривали мягкими голосами. Они равнодушно, без всякого любопытства оглядели нас и снова отвернулись.

Мы поднялись еще выше, до высокой желтой стены, темные зубцы которой резко очерчивались на теплой послеполуденной голубизне неба. Мы прошли сквозь каменоломню, откуда местные жители в течение столетия брали материал для своих домов, и залюбовались на вершины зеленых холмов и широко раскинувшиеся луга, где паслись овцы. На горизонте, к северу, высились багряные горы—там свирепствовали война и чума. Невдалеке от них раскинулись косые темные палатки цыган и в далекой зеленой складке земли прыгали босоногие мужчины в красных шароварах и желтых тюрбанах, играя в мяч. Вереницы мулов, в сопровождении одетых в холст крестьян, двигались, позвякивая, по вязкой дороге к невидимым деревням, лежавшим где-нибудь за чертой горизонта.

Из маленькой лачуги, построенной у подножья большой стены, вышел старый турок. Он поклонился нам и, вернувшись, вынес два деревянных стула. Мы не видали его больше, пока не поднялись, чтобы итти дальше, тогда он вышел, поклонился опять и взял стулья. Я попытался дать ему денег; он, улыбаясь, покачал головой и сказал что-то, чего мы не поняли.

Солнце склонялось к западу, заливая зеленое безоблачное небо волнами желтого света. Мы шли по избитой извилистой тропинке, между жалких домишек, построенных из камня, и вышли на открытое пространство с великолепной панорамой далеко выдвинувшегося в море, ниспадающего города. Темно-красные ряды крыш, выступающие балконы, круглые и белые купола, шпицы, выпуклые греческие башни, легкие стрелы минаретов рядом с великолепными кипарисами. Скрипучие звуки восточного города поднимались из скрытых улиц. У самой воды возвышалась круглая белая башня венецианской стены, а за ней простиралось море, цвета мрачного китайского нефрита, покрытое желтыми, белыми и красными пятнами косых парусов. К югу, замыкая залив, скалистый греческий материк высился величественной громадой Олимпа, покрытой снегом и всегда скрытой в облаках. Направо золотистая городская стена величаво спускалась по склону холма в долину и таяла в пространстве на западе. Серебряный Вардар извивался по поросшей ивняком плоской равнине; дальше тянулись болота, где болгарские комитаджи, сражаясь за освобождение Македонии, держали некогда в страхе турецкую армию, а дальше, на самом горизонте, виднелись крутые Фессалийские горы.

Мягко падали сумерки. На минуту высокий белый гребень Олимпа засиял, медленно потухая, неземной окраской. На темном небе внезапно загорелись миллионы звезд. Слабо светился молодой месяц. Под нами, внизу, муэдзины выходили на парапеты семнадцати минаретов и, помахивая крошечными желтыми фонариками, проходили по двору.

С нашего места мы могли слышать их высокие диссонирующие голоса, пронзительный призыв верующих на молитву:

— Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Аллах велик! Я свидетельствую, что нет бога, кроме аллаха. Я свидетельствую, что нет бога, кроме аллаха! Я свидетельствую, что Магомет пророк аллаха! Я свидетельствую, что Магомет пророк аллаха! Идите на молитву. Идите на молитву! Идите к спасению! Идите к спасению! Молиться лучше, чем спать!..

Теперь турецкая часть города замирает, благодаря все увеличивающемуся наплыву деловитых, суетливых греков. Мечети разрушаются, смолкают и пустеют минареты, где муэдзины столетиями при каждом заходе солнца призывали к молитве. Мекка стала далекой и бессильной, и каков бы ни был результат войны, Стамбул никогда не вернет себе господства над Салониками: салоникские турки вымирают. И сам город вымирает—с потерей прилегающих областей, от лихорадок, несущихся из низменностей Вардара, от тины, что медленно засасывает его прекрасную гавань, от ненасытных русл реки, что уже въедаются в город. Скоро из-за Салоник не будут уже больше вести войн.

СЕРБИЯ

СТРАНА СМЕРТИ

Мы натерлись с головы до ног камфарным маслом, намазали волосы керосином, наполнили карманы и пересыпали нафталином наш багаж. Мы сели в поезд, так сильно продушенный формалином, что наши глаза и легкие обжигались, точно негашеной известью. Американцы из салоникской конторы компании «Стандарт Ойль» пришли, чтобы сказать нам последнее «прости».

— Жаль,—сказал Уиллей,—вы еще так молоды. Хотите, чтобы мы отправили ваши останки на родину, или похоронить вас здесь?

Обычные предостережения путешественникам, отправляющимся в Сербию, страну тифов: брюшного, возвратного и таинственной и бурно-протекающей «пятнистой лихорадки», сыпного тифа, от которого умирало пятьдесят процентов больных, и бациллы которого тогда еще никем не были открыты. Большинство докторов думает, что его разносит платяная вошь, но лейтенант британской военно-медицинской миссии относился к этому скептически.

— Я пробыл там три месяца,—рассказывал он.— И я давно уже бросил принимать какие-либо меры предосторожности, кроме ежедневной ванны. Что же касается вшей, то приходится каждый вечерок обирать их.—Он чихнул от запаха нафталина.—Знаете, они

слишком увлекаются. Правда о тифе—только то, что о нем никто ничего не знает, кроме того, что около одной шестой всей сербской нации вымерло от него...

Во всяком случае, жаркая погода и прекращение весенних дождей начало обуздывать эпидемию—и яд ее стал ослабевать. Теперь во всей Сербии было только около ста тысяч больных и только тысяча смертей в день, не считая случаев смертельной послетифозной гангрены. В феврале, вероятно, было ужасно—сотни умирающих и больных в уличной грязи у дверей больниц.

Иностранным медицинским миссиям пришлось много выстрадать. Из четырехсот врачей, с которыми сербская армия начала войну, в живых оставалось меньше двухсот. К тому же свирепствовал не один тиф,—оспа, скарлатина, дифтерит бродили по большим дорогам и по отдаленным деревням, и были даже случаи холеры, которая грозила развиться в эпидемию с наступлением лета в этой опустошенной стране, где поля сражения, деревни и дороги смердели от неглубоко зарытых трупов, а речки кишели трупами людей и лошадей.

Наш лейтенант принадлежал к британской военно-медицинской миссии, отправленной на борьбу с холерой. Он был одет в полную служебную форму и носил огромную саблю, которая путалась у него в ногах и ужасно ему мешала.

—Я совершенно не знаю, что делать с этой нелепой штукой,—воскликнул он, отбрасывая ее в угол.—У нас в армии больше не носят сабель, но здесь мы принуждены их носить, потому что сербы не поверят, что вы офицер, если у вас нет сабли.

Пока мы медленно поднимались среди бесплодных холмов вдоль желтых вод Вардара, он рассказывал нам, как англичане убедили сербское правительство прекратить на месяц все железнодорожное движение, чтобы предупредить развитие эпидемии; затем в пятидесяти городах были введены санитарные усовершенствования, увеличены противохолерные прививки и приступлено к дезинфекции всех слоев населения. Сербы зубоскалили, что англичане, очевидно, трусы. Полковник Хотнер, не будучи в силах обезопасить богатые кварталы, пригрозил властям, что если хоть один из его людей умрет от тифа, то он покинет Сербию. Разразилась целая буря насмешек. Полковник Хотнер—трус! И американцы тоже трусы, раз они покинули Гевгели, перезаразив добрую половину своих людей. Сербы считали принятые предохранительные меры доказательством трусости. Они смотрели на огромные опустошения от эпидемии с какой-то мрачной гордостью—как средневековая Европа смотрела на «черную смерть».

Вардарское ущелье, бесплодная граница между греческой Македонией и плоскогориями Новой Сербии, переходило в пустынную долину, загроможденную каменными глыбами, за которыми тянулись, постепенно возвышаясь, горы со случайными проблесками отвесных снеговых вершин. Из каждого ущелья низвергался быстрый горный поток. В долине воздух жаркий и влажный; обсаженные большими ивами каналы, отведенные от реки, орошают табачные плантации, целые акры тутовых деревьев и возделанной тучной черноземной земли, похожей на хлопковое поле. Здесь каждый клочок земли возделан. Выше, на обнаженных откосах, среди скал бродили овцы и козы; пасли их бородатые крестьяне

с высокими посохами, одетые в овчину. Они сами прядут шерсть и шелк на деревянных прялках. Разбросанные белые, с красными крышами, деревни тянулись вдоль изрытых колеями дорог, по которым молодые волы и черные буйволы тащили скрипящие телеги. Виднелся изредка обведенный галлереей «конак» какого-нибудь зажиточного турка, с желто-зелеными ивами или цветущими с тяжелым благоуханием миндальными деревьями. А над маленьким разрушенным городком высился стройный минарет или купол греческой церкви.

На станциях толкался всевозможный народ—мужчины в тюрбанах и фесках и в темных меховых конусообразных шапках, в турецких шароварах или в длинных рубашках и обтяжных панталонах из сурового домотканного холста, в кожаных жилетах, богато расшитых цветными узорами и цветами, или же в тяжелых темных шерстяных костюмах, отделанных черным шнуром, с высоким красным поясом, обмотанным несколько раз вокруг поясницы, в кожаных чувяках с загнутыми носами и с обвязанными вокруг икры, до самых колен, кожаными лентами; женщины в турецких шароварах, в кожаных или шерстяных жакетах, расшитых яркими цветами, и в поясах из невыделанного домотканного шелка, в вышитых холщевых нижних юбках, черных фартуках, расшитых цветами, в тяжелых верхних юбках, вытканных яркими цветными полосами и связанных сзади, и в желтых или белых шелковых головных платках. Многие носили черный платок—единственный знак траура. И повсюду цыгане в широких тюрбанах, женщины с золотыми монетами вместо серег, в платках, с заплатами из ярких лоскутьев на платьях; босоногие, тащились они по дороге за своими кибитками или

праздно шатались около обтрепанных темных палаток табора.

Высокий, бородатый мужчина в черном отрекомендовался нам по-французски сербским офицером секретной службы и сообщил, что ему поручено наблюдать за нами. Однажды какой-то веселый молодой офицер пришел на пароход и расспрашивал его, кивая на нас.

— Добра! Хорошо!—сказал он, щелкая каблуками и отдавая честь.

— Эта станция,—сказал тайный агент, когда поезд снова тронулся,—граница. Теперь мы в Сербии.

Перед нами промелькнули фигуры высоких худощавых мужчин на платформе; винтовки с примкнутыми штыками висели у них за плечами, но на них не было никакой формы, кроме солдатского кепи.

— Что вы хотите?—улыбаясь, пожал плечами наш спутник.—У нас больше нет обмундирования. За три года мы воевали четыре раза—первую и вторую Балканские войны, албанское восстание, а теперь вот эта... За три года наши солдаты не меняли одежды.

Теперь мы проезжали вдоль узкого поля, утыканного маленькими деревянными крестами на расстоянии трех шагов один от другого—они могли сойти за виноградные колышки; целых пять минут мы ехали мимо них.

— Тифозное кладбище Гевгели,—лаконически пояснил наш спутник. Тысячи таких крестов, и каждый обозначал могилу!

Потом в поле нашего зрения попало большое открытое пространство на склоне холма, похожего на пчелиные соты,—весь он был изрыт норами, уходившими в коричневую землю, и круглыми землянками. Вокруг этих ям копошились грязные, оборванные солдаты с винтовками

на перевязи через грудь, подобно мексиканским революционерам. В промежутках щетинились козлы из ружей; пушки с волами, впряженными в передки лафетов, и с полсотни безрессорных телег стояли в стороне, а спутанные волы паслись несколько дальше. Ниже грязных лачуг, у подножья холма, солдаты пили воду из желтой реки, которая стекала вниз в долину из зараженных деревень. Вокруг костра сидело на корточках человек двадцать или больше, наблюдая за жарившейся на вертеле тушей барана.

— Этот полк охраняет границы,—объяснял наш спутник.—Болгарские комитаджи пытались на прошлой неделе прорваться и перерезать железнодорожный путь. Они каждую минуту могут вернуться... Ответственно ли за это болгарское правительство или им заплатила Австрия? На Балканах никто этого не сможет сказать.

И теперь через каждые четверть мили мы проезжали мимо грубых лачуг из глины и хвороста, перед которыми стояли оборванные солдаты со впалыми щеками, грязные и больные на вид, но с винтовкой в руках.

По всей Сербии можно было видеть этих людей,—последние рассеянные остатки мужского поколения страны,—которые жили в грязи, скудно питаясь, охраняя давно покинутый железнодорожный путь.

Сначала казалось, что нет никакой разницы между этой страной и греческой Македонией. Те же деревни, немного более разрушенные, крыши с выбитыми черепицами, стены с обсыпавшейся известью; то же население, только меньше числом и в большинстве случаев женщины, старики и дети. Но скоро стала заметна разница. Тутовые деревья в забросе, табак стоял прошлогодний—желтый, прогнивший; стебли зерновых

хлебов колосились в заросших сорными травами полях, не убиравшихся больше года. В греческой Македонии каждая пядь годной земли была возделана; здесь же только одно поле из десяти носило признаки обработки. Вскоре мы заметили пару волов, управляемых женщиной в желтом головном уборе и блестящей цветной юбке. Они тащили соху, сделанную из корявого ствола дуба, под охраной солдата с винтовкой за плечами.

Тайный агент указал на них:

— Все мужчины в Сербии взяты в армию или убиты, а все волы взяты правительством, чтобы возить пушки и обозы. Но с декабря, когда мы прогнали австрийцев, здесь не было сражений. И тогда правительство отправило солдат и быков для обработки земли.

Так открывалась перед нами картина этой страны смерти: две кровавые войны, сгубившие цвет ее юношества, два месяца тяжких военных походов, ужасная борьба с величайшей военной силой на земле, и в довершение всего опустошающая чума. И, несмотря на это, среди остатков народа уже начали пробиваться империалистические тенденции, которые могли с течением времени стать угрозой всей южной Европе.

Гевгели оспаривало у Вальево отличие быть местом наихудшего сыпного тифа в Сербии. Деревья, станции и здания были замазаны и обрызганы хлорной известью, а вооруженные часовые стояли на страже у ограды, где теснились с ропотом сотни оборванных людей, так как Гевгели находилось под карантином. Мы смотрели через решетку на пустынную, грязную, немощеную улицу, окаймленную одноэтажными зданиями—белыми от дезинфекции; почти у каждой двери развевался черный флаг—знак смерти.

Полный усатый человек, в грязном воротничке и платье в пятнах, в истрепанной панаме, надвинутой на глаза, стоял на возвышении, окруженный тесным кольцом солдат. Высоко держа какой-то полевой цветок, он оживленно и с возбуждением обратился к тайному агенту:

— Смотрите,—кричал он,—я нашел этот цветок в полях за рекой. Это очень любопытно! Я не знаю этого цветка! Он, очевидно, принадлежит к семейству орхидей!—Он нахмурился и угрожающе уставился на тайного агента.—Разве он не принадлежит к семейству орхидей?

— Да, действительно, есть характерные черты,— скромно отвечал тот.—Этот язычок... но пестик...

Тучный человек взглянул на цветок.

— Вздор! Он из семейства орхидей!

Стоящие кругом солдаты разразились громким спором:

— Да! Орхида!

— Не орхида!

— Несомненно, это орхидея!

— Что вы знаете об орхидеях, Георгий Георгиевич? В Ралиа, откуда вы приехали, нет даже травы.

Это вызвало смех. Настойчивый страстный голос покрыл его:

— Я говорю вам, это орхидея! Это новый вид орхидеи! Он еще неизвестен в ботанике...

Робинзон заразился спором.

— Орхидея?—обратился он ко мне насмешливо.— Разумеется, это не орхидея!

— Это орхидея!—горячо поддержал я.—Форма ее очень похожа на форму «дамской туфельки», которую мы встречаем в американских лесах.

Толстяк перевернулся и, уставившись на нас, разразился на ломаном английском языке:

— Да, да!—горячо заговорил он.—Она самая. Вы американцы? Я был в Америке. Я бродил по Канзасу и Миссури, работал на пшеничных полях. Я прошел через Техас, работая на скотоводческих ранчо. Я пешком прошел в Сан-Франциско, в Сакраменто, пересек Сиерру и пустынную Юма в Аризоне—вы знаете Юма? Нет? Я изучал на месте все способы обработки земли, чтобы применить их на сербских фермах. Мое имя Лазарь Обичан. Я агро-геолог и секретарь государственного земледельческого департамента в Белграде. Да (он прочистил горло, расправил плечи, расчищая себе путь в толпе, и схватил нас за отвороты пиджака), я послан сюда изучать почву, климат и условия жатвы в Новой Сербии. Я—эксперт. Я изобрел новый способ узнавать, что может расти на любой почве данной страны. Это автоматично, просто, может применяться каждым—новая наука. Слушайте! Вы даете мне сырость—я кладу ее сюда (он сильно толкнул Робинзона в лопатку), потом вы даете мне среднюю температуру—я кладу ее сюда (толчок Робинзону в сторону почки). От сырости я провожу вертикальную линию прямо вниз—так? От средней температуры я провожу горизонтальную прямую линию поперек (он наблюдал действие своих слов, набирая воздух в легкие; его голос повышался). В конце концов обее линии встречаются. И точка, где они встречаются, это и есть показатель испарений одного дня!

Он тыкал нас обоих в грудь, чтобы запечатлеть каждое слово, и повторял:—Испарения одного дня!—Он раскинул обе руки, воздел их над нами, выдерживая

паузу, чтобы дать нам возможность лучше проникнуться смыслом его слов. Мы были поражены.

— Но это еще не все, что я открыл,—медленно продолжал он.—Это обширная коммерческая и финансовая схема, огромная! Слушайте! После этой войны Сербии потребуется много денег, много иностранных капиталов. Откуда они явятся? Из Англии? Нет. Англия будет сама в них нуждаться. Франция и Россия будут совершенно истощены. Капиталы придут не из Европы. Откуда же тогда? Я скажу вам. Из Америки. Америка богата. Я был в ней и знаю, насколько она богата. Слушайте! Мы оснуем Сербско-Американский банк с американскими капиталами и американскими директорами. Он будет находиться в Белграде и будет ссужать деньгами сербов—огромная выгода! Сербский закон позволяет брать двенадцать процентов, двенадцать! Он будет выгодно ссужать фермеров. Он будет покупать земли у обедневшего народа, разбивать их на мелкие участки и снова продавать, получая четыреста процентов прибыли. Обедневшие сербы будут продавать землю по низкой цене, но сербам нужна земля, они должны иметь землю. Мы здесь теперь обанкротились—вы можете покупать, как вы думаете? Вы можете купить всю Сербию за грош! Затем этот банк откроет в Белграде постоянную выставку американских изделий и будет принимать заказы: американская обувь, американские машины, американская одежда, а в Нью-Йорке он откроет выставку сербских изделий и тоже будет принимать заказы. Наделает денег кучу! Напишите об этом в ваших газетах. Если у вас есть капиталы, вложите в этот банк!

На станции зазвонил звонок. Начальник станции затрубил в рог, паровоз засвистал, и поезд тронулся. Мы вырвали свои пиджаки из рук м-ра Обичана и побежали. Он бежал рядом с нами и продолжал говорить:

— В Сербии много естественных богатств!—кричал он.—Здесь можно разводить хлопок, табак, шелковичного червя,—прекрасная наносная почва. На юге покатые холмы для возделывания винограда! Дальше, на горах, пшеница, сливы, персики, яблоки, в Машве чернослив...—Мы вскочили на подножку.—Минералы!—вопил он нам вслед.—Золото... медь... труд дешевый...—голос его затерялся в шуме поезда.

Позднее мы спросили о нем одного сербского чиновника.

— Лазарь Обичан?—сказал он.—Да, мы его знаем. Он у нас под наблюдением: заподозрен в австрийском шпионаже.

Позднее днем мы долго стояли, чтобы пропустить воинский поезд—двенадцать открытых платформ, набитых солдатами в лохмотьях военной формы, закутанных в изодранные одеяла ярких цветов. Пошел небольшой дождь. Цыган-скрипач яростно играл, держа перед собой свою одностру нную скрипку за вырезанный в виде лошадиной головы гриф, а кругом него лежали солдаты, распевая новейшую песнь об австрийском поражении:

Швабы прошли вплоть до Ралии,
Но дальше не пошли...

Гей, «како-то»?
Йой, «зашто-то»?

Не скоро они забудут Рашко Пол,
Ибо там встретили их сербы!

Гей, как это было?
Йой, почему это было?

При каждом полку находилось два—три цыгана, которые шли с войском, играя на сербской скрипке или волынке, аккомпанируя песням, которые постоянно сочинялись солдатами—любовные песни, прославление побед, эпические. И всюду по всей Сербии встречались народные музыканты, переходившие с одного деревенского праздника на другой, играющие танцы и песни. Странная замена! Цыгане фактически заменили собой старинных странствующих бардов, гусляров, которые передавали из поколения в поколение, через далекие горные долины, старинные национальные эпосы и баллады. И однако только они одни в Сербии не имеют права голоса. У них нет ни домов, ни деревень, ни земли—одни шатры и ветхие колымаги.

Мы бросили солдатам на платформы несколько пачек папирос. В первую минуту они, казалось, не поняли, в чем дело. Вертели пачки, распечатали их и уставились на нас тяжелыми, неживыми, плоскими лицами. Догадались—закивали нам, улыбаясь.

— Фала,—приветливо произнесли они,—фала лепо! Премного благодарны!

ВОЕННАЯ СТОЛИЦА

Ниш. Мы наняли никуда не годную таратайку,—у нее сейчас же отвалилось днище,—запряженную двумя клячами, которыми правил разбойник в высокой меховой шапке, и затряслись по широкой улице, устланной грязью и редкими, острыми булыжниками. Вокруг города высились красивые зеленые холмы, покрытые цветущими фруктовыми деревьями, а над плоскими турецкими крышами и немногими европейскими оштукатуренными зданиями возвышались луковицеобразные купола греческого собора. Кое-где торчали стройные шпицы турецких минаретов, перекрещивавшихся с телефонными проводами. Улица выходила на обширную площадь, море грязи и булыжников, окруженную жалкими лачугами, с рядом чугунных столбов с проволокой, обвешанной огромными современными фонарями. В стороне лежал на спине вол, привязанный за ноги к деревянному брусу, а крестьянин подковывал его такими крепкими железными подковами, как будто они должны были служить полтысячи лет.

Пленные австрийцы в форме свободно разгуливали повсюду, без всякой стражи. Одни подвозили тачки, другие рыли канавы и сотнями шатались взад и вперед, ничего не делая. Мы узнали, что, заплатив пятьдесят динаров правительству, можно получить одного

из них в слуги. Все посольства и консульства обслуживались ими. Пленные охотно поступали в услужение, потому что для них не было приличного помещения и сытного питания. По временам проходил австрийский офицер в полной форме, с саблей.

— Убежать?—ответил на наш вопрос один правительственный чиновник.—Нет, они и не пытаются. По дорогам грязь по колено, деревни брошены жителями и полны больными, там нечего есть... Даже в поезде путешествовать по Сербии трудно, а пешком немыслимо. Да и по всей границе стоят часовые...

Мы проехали мимо большого госпиталя, где бледные пленные высовывались из окон, лежа на грязных одеялах, ходили из дверей в двери и лежали вдоль дороги, опираясь на комья засохшей грязи. Это были все оставшиеся в живых; из шестидесяти тысяч австрийских пленных двенадцать тысяч уже умерло от тифа.

Позади площади снова тянулась улица между грубыми одноэтажными домами, и мы выехали по ней на базар. Глухой шум доносился от сотен торгующих крестьян, одетых в различные национальные костюмы,— домотканный холст, вышитый цветами, высокие меховые шапки, фески, тюрбаны, турецкие шаровары разных фасонов. Визжали свиньи, кудахтали куры; под ногами громоздились корзины яиц, зелени, овощей и красного перца; величественный старик в овчине шатался с ягнятами на руках. Это был центр города. Тут находились два—три ресторана и вонючие кофейни, грязноватая гостиница «Восток», неизбежный американский магазин обуви, и между жалкими лавчонками—витрины ювелирных изделий, и экстравагантных дамских шляп.

По тротуарам толкалось множество народу: цыгане, поражающие своей бедностью крестьяне; жандармы с большими саблями, в красных и синих мундирах; сборщики налогов, разодетые как генералы, тоже с саблями; франтоватые армейские офицеры, увешанные медалями; солдаты в грязных лохмотьях, с ногами, обвязанными тряпками, хромые, ковыляющие на костылях, безрукие, безногие, выпущенные из перегруженных госпиталей, посинелые и еще трясущиеся в тифу,—и всюду пленные австрийцы. Правительственные чиновники спешили с портфелями под мышкой. Поставщики армии перекликались через запачканные столики с политическими завсегдатаями кафэ.

Служащие в правительственных учреждениях, женщины, жены и любовницы офицеров, дамы из общества сталкивались с крестьянками в подоткнутых цветных юбках и высоких ярких носках. Белградское правительство переехало в Ниш, и горная деревня с населением в двадцать тысяч сделалась городом со ста двадцатью тысячами жителей, не считая умерших. Ибо тиф так выметал город, где люди жили по шести и десяти человек в одной комнате, что почти повсюду развевались длинные черные флаги, а окна кофеен были обклеены черными бумажками, извещавшими о смерти.

Мы переехали мутную Нишаву по мосту, ведущему к тяжелым, украшенным арабесками, воротам старинной турецкой цитадели, которая была раньше римской и где родился Константин Великий. На траве у подножья высокой стены валялись сотни солдат—некоторые спали, другие боролись или раздевались и обирали вшей с одежды, тряслись и дрожали от лихорадки. Всюду

вокруг Ниша, где только был клочок травы, собирались кучками люди и обирали паразитов.

Вонь в городе стояла ужасная. На боковых улицах текли нечистоты из сточных труб. Были приняты некоторые санитарные меры, как, например, закрытие кофеен и ресторанов ежедневно от двух до четырех часов дня для дезинфекции; но возможность заразы тифом везде одинакова—и в гостиницах, и в общественных зданиях. По счастью, гостеприимный американский вице-консул м-р Юнг захватил нас в консульстве и повел в Дипломатический клуб, в столовую, где можно было хорошо пообедать, в то время как половина города голодала. Входили туда через свиной хлев, перешагнув через открытую сточную трубу. Когда мы открыли дверь в клубный зал, нашим изумленным взорам предстали столы, убранные цветами и серебром и накрытые белоснежными скатертями, и метрдотель в франтоватом вечернем костюме,—пленный австриец, по имени Фриц, который до войны служил метрдотелем в Карлтон-отеле в Лондоне. Зрелище, как британский посланник величественно проплывает через свиной хлев и поднимается по ступеням клуба, точно это Пикадилли-клуб, достойно того, чтобы проехать ради него столько миль.

Таков был Ниш, когда мы в первый раз увидели его. Мы вернулись две недели спустя, когда дожди прошли и горячее солнце высушило улицы. Это было через несколько дней после праздника св. Георгия, которым знаменуется наступление весны в Сербии. В этот день вся Сербия встает на рассвете и отправляется в леса и поля, собирает цветы, танцует, поет и веселится. И даже здесь, в этом грязном переполненном

городе, где над каждым домом трагически тяготели война и чума, улицы представляли пестрое зрелище. Крестьяне сменили свои грязные тяжелые шерстяные и овчинные одежды на летние костюмы из вышитого ослепительного холста. На всех женщинах были новые платья и новые шелковые платки, украшенные бантами из лент, листьями и цветами; даже упряжь и головы волов были увиты цветущими ветками сирени. По улице, как сумасшедшие, бегали взапуски молоденькие цыганки в турецких шароварах необычайно яркого цвета, обвешанные золотыми шнурками и монетами. Особенно запомнились мне пять высоких стройных женщин с кирками на плечах, которые, распевая, шли посреди дороги, чтобы работать вместо своих умерших мужей.

Полковник Суботич, начальник Красного Креста, принял нас в своей главной квартире. Он описал нужду в медикаментах в Сербии и нарисовал нам яркую картину, как умирали на улицах Ниша всего месяц тому назад. Я обратил внимание на красивое крестьянское одеяло на его кровати.

— Моя мать выткала его для меня,—просто ответил он,—в деревне, где я жил. Она—крестьянка. Мы все в Сербии крестьяне, и это наша гордость. Воевода Путник, главнокомандующий армией,—бедный человек; отец его был крестьянином. Воевода Мичич, одержавший победу и прогнавший австрийцев из нашей страны,—крестьянин. Многие депутаты Скупщины—нашего парламента—крестьяне и заседают там в крестьянской одежде.—Он взглянул на кровать.—Два месяца тому назад я стоял здесь, как стою сейчас, и смотрел, как на этой самой кровати, под этим самым одеялом умирал

мой сын от тифа. Что же делать? Мы должны исполнять свой долг...

Он распрямил плечи с видимым усилием.

— Так вы хотите видеть тифозный госпиталь? Теперь в нем нет ничего интересного. Самое худшее уже позади. Но я дам вам письмо к Станойевичу в Чер-Кула.

Мы поехали в Чер-Кула, расположенный в миле от города, в пасмурный день, под проливным дождем. Это название турецкое, что значит—«гора черепов». Здесь в самом деле была башня из сербских черепов, возведенная близ места великой битвы, происходившей более ста лет тому назад,—памятник турецкой победы. Лейтенант Станойевич, заведующий госпиталем, отпер греческую часовню, которую сербы выстроили на этом месте. В тусклом свете возвышалась, совершенно заполняя часовню, большая круглая башня из глины с несколькими оскаленными черепами, еще державшимися в ней и украшенными венками увядших цветов.

Вокруг этого мрачного памятника группировались кирпичные постройки тифозного госпиталя и временные деревянные бараки. Ветер доносил до нас зловоние лихорадочного пота и запах сидевших за едой больных и жарящегося мяса. Мы вошли в барак, по стенам которого стояли кровати, сдвинутые по две, и при слабом свете двух фонарей мы могли разглядеть больных, корчащихся под грязными одеялами, по пятеро и по шестеро на двух кроватях. Некоторые сидели и аппетитно ели: другие лежали, как мертвые; иные издавали короткие мучительные стоны или вдруг вскакивали в припадке бреда. Госпитальные служители,

которые спали в той же комнате, были все пленные австрийцы.

— Я вступил в заведывание этим госпиталем всего только три дня назад,—сказал лейтенант.—До моего прихода было гораздо хуже. Теперь у нас только тридцать покойников в день. Здесь восемьсот больных—вы видите, у нас даже не хватает для них места.

Мы проходили одну за другой зловонные палаты, смердящие разложением и смертью, пока нас окончательно не расстроил вид больных, а наши желудки не стали выворачиваться от зловония.

Позднее мы обедали со Станойевичем и его штатом молодых докторов и студентов-медиков. Прекрасное местное красное вино шло в круговую, и в оживленном горячем споре о войне мы забыли на минуту о бедняках, умирающих за стеной. Станойевич, раскрасневшись от вина, хвастался, как сербы разбили австрийскую армию.

— Что сделали французы и англичане?—горячился он.—Почему они не побили немцев? Горсть сербов показала им, как надо вести войну. Мы, сербы, знаем, что нужно одно—готовность умереть,—и войне скоро бы пришел конец!

К ФРОНТУ

Рано утром на следующий день мы находились уже в пути к Крагуевацу, где стоял главный штаб армии. Наш поезд был нагружен обмундированием и американской мукой для расположенных на фронте частей. С нами шло пять вагонов с солдатами в крестьянской одежде, в овчинах, и в австрийской военной форме, захваченной во время декабрьского наступления; на одном была даже германская каска. Они пели бесконечную песню в минорном тоне о сражении на реке Колубаре:

Швабы прошли Крупень,
Их полчища, подобные стремительной Мораве,
Прошли Вальево.

Железнодорожный путь шел вдоль реки Моравы. Здесь все уже зеленело, а на черных глинистых полях женщины пахали на волах. Позади цветущих слив и яблонь виднелись белые, низкие, крытые черепицей дома, над балконами которых нависали изящные турецкие арки, разрисованные на углах цветными ромбами. Вдали тянулись луга, залитые водой, где тысячи лягушек задавали оглушительный концерт своим кваканием, слышным, несмотря на грохот поезда.

Морава разлилась. Мы проехали Тешитцу, Багрдан, Дедреватц, Лапово, пропахшие формалином, забрызганные едкой известью—очаги заразы.

В Крагуеваце нас встретил делегат от Пресс-бюро, бывший прежде лектором литературы в Белградском университете. Это был широколицый, несколько рассеянный молодой человек с бойким поблескиванием глаз, толстыми икрами, затянутыми в бриджи жемчужного цвета для верховой езды, в широкой зеленой войлочной шляпе набекрень.

Через два часа мы уже называли его «Джонсоном», что было буквальным переводом его фамилии.

Джонсон знал всех, и все знали его. Он беспрестанно задевал своими оскорбительными замечаниями всех встречавшихся и надолго останавливал экипаж, выскакивая из него, чтобы обменяться последней приятной сплетней с кем-нибудь из друзей. Под конец мы кричали ему:

— Эй, Джонсон, скорей, кончайте!

— Извините меня, сэр!—важно отвечал он.—Вы должны запастись терпением. Теперь военное время!

Заведующего Пресс-бюро, бывшего профессора международного права в Белградском университете, мы застали за серьезной работой—он читал повесть Джорджа Мередит. Джонсон объяснил нам, что Пресс-бюро очень важная и деятельная организация.

— Мы сочиняем здесь много шуток о выдающихся лицах, эпиграмм и стихов. Так, например, один из заговорщиков, участник убийства эрцгерцога Фердинанда, был офицером сербской армии во время отступления. Он боялся, что его узнают, если возьмут в плен, и поэтому сбрил себе бороду. В Пресс-бюро мы сочинили на него сонет, в котором говорили, что он напрасно сбрил бороду, если не мог сбрить свой громадный нос!

Да сэр. В Пресс-бюро мы иногда сочиняли до двухсот сонетов в день.

Джонсон был музыкант и драматург. Он старался культивировать на сербской сцене французскую комедию из театра Антуан и был за это изгнан из респектабельного общества. «Потому что,—объяснял он,—моя пьеса оказалась непристойной, но зато она правдиво изображала сербскую жизнь, а это ведь идеал искусства, не правда ли?»

Джонсон был насыщен европейской культурой. Европейское злословие, цинизм, модернизм; но поскребите поверхность—и вы найдете серба: сильный, мужественный побег молодой нации, недалеко ушедший от полудиких горных крестьян, в высшей степени патриотичный и в то же время независимый.

Многие «интеллигентные» сербы похожи на город Белград, где всего три года тому назад ползли по немощеным улицам, утопая в грязи, скрипучие крестьянские телеги, запряженные волами, между одноэтажными, такими же, как в Нише, домиками, и который украшается теперь зданиями, мостовыми, модами и пороками Парижа и Вены. Они восторгаются современным искусством, современной музыкой, танго и фокстротом, высмеивают песни и одежды крестьян.

Иногда это преклонение бывает смешным. Однажды мы целый день проездили верхом по полю сражения на горе Гутчево с молодым офицером, тоже университетским преподавателем, который три года вел жизнь воюющего номада, какой не могли бы выдержать ни англичанин, ни француз, ни немец. Он перенес ужасное отступление и еще более ужасное наступление в зимнюю кампанию, спал под дождем или в лагерях, полных

паразитами, ел грубую крестьянскую пищу или совсем ничего не ел—и благоденствовал при этом.

— Я люблю деревню,—говорил он.—Это такая идиллия, не правда ли? Я всегда вспоминаю бетховенскую Пасторальную Симфонию, когда бываю в деревне.— Он насвистал рассеянно несколько тактов.—Нет, я ошибаюсь. Это, кажется, из Третьей.

Оказывается, его отец был крестьянином, и все его предки, с тех пор как сербы впервые пришли с венгерской равнины, были тоже крестьянами и жили в этой деревне, которая напоминала ему только Бетховена!

И в Сербии хорошо знают «Оружие и Человек» Бернарда Шоу.

Мы обедали в общей штабной столовой, в простом тронном зале Милана Обреновича, первого сербского короля. Его пышные красные плюшевые с позолотой троны еще стояли здесь, а на стенах висели портреты Милоша Обилича и других героев бурной сербской истории и главарей сербских комитаджей, которые погибли от турецкой руки в Македонии перед Балканской войной.

— Этот дворец—один из наших старейших национальных памятников,—сказал Джонсон.—Он построен больше чем полсотни лет назад.

Удивительна молодость сербского королевства. Прошло меньше ста лет с тех пор, как оно стало свободным государством после пятисотлетнего владычества Турции—и за это время какую историю оно проделало!

Тайная мечта каждого серба—объединение всех сербских племен в одно большое государство.—венгерской Кроации и Далмации—родины сербской литературы,

Боснии—источника сербской поэзии и песен, Черногории, Герцеговины и Славонии.

Каждый солдат из крестьян знает, за что он сражается. Еще когда он был маленьким ребенком, мать приветствовала его:

— Здравствуй, маленький мститель за Коссово!

(В битве при Коссове, в четырнадцатом столетии, Сербия подпала под власть Турции).

Когда он подрастал, мать попрекала его:

— Ну, так ты никогда не освободишь Македонию!

Церемония перехода из детства в юность отмечалась пением старинной поэмы: «Я сам сербин». Она начиналась:

Я — серб, рожденный быть солдатом,
Сын Илии, Милоша, Вазы, Марко.

(Национальные герои, подвиги которых последовательно перечисляются).

Мои братья бесчисленны, как виноградины во время сбора,
Но они менее счастливы, чем я, сын свободной Сербии!
Поэтому мне надо поскорее вырасти, научится петь и стрелять,
Чтобы поспешить на помощь тем, кто ждет меня!

— Что, если Италия займет Далмацию?—спросил я одного чиновника.

— Это было бы ужасно,—ответил он.—Это значило бы, что нам снова пришлось бы завоевывать то, чего мы добились этой войной!

Старый офицер, которого мы встретили позднее, сказал в каком-то экстазе:

— Мы учили, что эта мечта о великой Сербии несомненно осуществится—но в будущем, через много лет,

через много лет. А вот она осуществилась в наше время. За это стоит умереть!

Сербия управляется Скупщиной—однопалатным парламентом, избираемым на основе всеобщего избирательного права с пропорциональным представительством,—сенат, называемый в насмешку «музеем», был уничтожен в 1903 году. Король Александр пытался править автократично, но его убили; теперешний король попросту кукла и строго ограничен либеральной конституцией.

В Сербии нет аристократии. Королева Драга пыталась установить дворянское звание, «но,—как, смеясь, сказал Джонсон,—мы убили ее».

Крупных помещиков тоже нет в Сербии. Здесь каждый крестьянин имеет право на пять акров земли, не отчуждаемых за долги и налоги; он объединяет поля своих сыновей и дочерей, племянников и племянниц; по всей Сербии существуют такие кооперативные владения—«задруги», где поколения одной семьи с ее родственниками живут все вместе, сообща владея всей собственностью. До сих пор в Сербии нет промышленного населения и мало богатых людей.

Вечером мы выслушали драматическую историю о великой сербской победе в декабре. Дважды австрийцы овладевали страной, и дважды их отгоняли назад, и улицы Вальево стонали от раненых, лежащих под дождем. Но во второй раз враг удержал Шабац, Лосницу, два богатых района Мачвы и Подригны и высоты Гутчево. Сербы не могли выбить их из сильно укрепленных позиций. И тогда, в ужасную декабрьскую непогоду, австрийцы начали третье наступление, с пятьюстами тысячами против двухсот пятидесяти тысяч.

Устремясь через границу с трех пунктов, отстоящих на далеком расстоянии друг от друга, австрийцы прорвали сербские линии и загнали маленькую армию обратно в горы. Белград достался неприятелю. Дважды сербы оказывали отчаянное сопротивление и дважды вынуждены были отступать. Снаряжение подходило к концу—на каждое орудие приходилось меньше двадцати снарядов. Неприятель прошел Крупень и Вальево и находился в сорока пяти милях от Крагуеваца—главной квартиры сербского генерального штаба.

И вдруг в последнюю минуту что-то произошло. Новый запас снаряжения прибыл из Салоник, молодые офицеры восстали против своих осторожных начальников, крича, что лучше умереть, идя в наступление, чем быть убитыми в окопах. Генерал Мичич приказал наступать. Потерпевшие поражение сербы, бросившись из окопов, ударили на беспечные австрийские колонны, идя в атаку по узким горным ущельям. Захваченные в походе, обремененные большими орудиями и тяжелыми обозами по дорогам, почти непроходимым от грязи, австрийцы бешено сопротивлялись, но были вынуждены отступить. Фронт был прорван. Центр, смятый Мичичем и первой армией, был разбит и в панике бежал, бросая обозы, снаряжение, оружие и оставляя позади тысячи убитых и раненых и госпитали, переполненные тифозными больными. Таким путем тиф, начавшийся где-то в равнинах Венгрии, появился в Сербии вместе с австрийской армией. Некоторое время левое крыло пыталось удержать Белград, но торжествующие, разъяренные сербы буквально сбросили австрийцев в реку Саву и расстреливали их, когда они ее переплывали.

Этому большому сражению, о котором воевода Мичич донес лаконически гордой телеграммой: «На Сербской земле не осталось ни одного австрийского солдата, кроме пленных», не было присвоено никакого названия. Одни называли его сражением при реке Колубара, другие—сражением при Вальево. Но это, быть может, самый удивительный подвиг во всей Мировой войне.

По правую руку от полковника сидел поп в длинной черной одежде. Он не был таким жирным и хитрым, как обычно греческие попы, но все-таки был здоров и румян, шумно хохотал и пил вино вместе с офицерами.

— Мы все заодно, не так ли?—сказал он по-французски и обернулся к полковнику, который утвердительно кивнул.—Я три года сражаюсь в армии—не как священник, а как простой солдат. Мы, сербы, сперва мужчины, а потом уж священники.—Он засмеялся.—Вы слышали рассказ о том, как сербский епископ Дучич срезал лондонского епископа? Нет? Прекрасно. Они обедали вместе в Лондоне. «Вы довольны своим народом,—спросил лондонский епископ,—я слышал, сербы очень набожны».—«Да,—отвечал Дучич,—но в Сербии мы не ждем многого от бога. Мы просили его в течение пяти столетий освободить нас от турок, а в конце концов взялись за ружья и сделали это сами!»

В полночь мы выехали с поездом на Белград, отстоявший меньше чем в ста километрах, но утром были еще далеко от города. Мы медленно ползли вперед, часами ждали на запасных путях, пропуская поезда, идущие на север, нагруженные солдатами и продовольствием, и пустые поезда на юг—мы находились

теперь в пределах фронта Дунайской армии и главной военной артерии, обслуживающей пятьдесят тысяч человек. Местность состояла из высоких покатых холмов, то тут, то там высилась величавая гора с развалинами какого-нибудь замка, сохранившегося со времен турок. Земля кругом не обработана. На склонах холмов виднелись вырытые землянки и лачуги из глины и соломы, где ютились оборванные солдаты; окопы тянулись по грязным лугам, изрезывая изрытую боями землю, а в местах, где сражения были особенно ожесточенными, неровные обломки больших дубов торчали без веток и листьев, наголо обчищенные градом снарядов и ружейных пуль.

Вокзал в Белграде был разрушен бомбардировкой; австрийские пушки разбили все ближайшие станции, так что мы были принуждены сойти с поезда в Раковице, за шесть миль до города, и ехать дальше на лошадях. Дорога шла по прекрасной плодородной долине с белыми виллами и фермами в густых цветущих каштанах. Ближе к городу мы въехали на тенистую дорогу огромного парка, где летом фешенебельная публика Белграда показывала свои щегольские экипажи и новые туалеты. Теперь дороги заросли травой, лужайки стояли заброшенные и пыльные. Снарядом пробило летний павильон. Под большими деревьями, по углам лепного фонтана, расположился кавалерийский пикет; была уничтожена теннисная площадка, чтобы дать место двум французским орудиям; французские моряки лежали на траве и весело посматривали на нас.

Наш экипаж повернул налево, по дороге, ведущей через реку Саву, как вдруг до нашего слуха донесся далекий глухой гул. Он не был похож ни на что другое

в мире—двойной звук, гул большой пушки и пронзительный свист снаряда. Потом ближе, слева, ответило другое большое орудие. Впереди из-за поворота показался парный экипаж, лошади мчались галопом. Из него, поровнявшись с нами, высунулся толстый офицер и крикнул нам:

— Не ездите здесь! Они обстреливают дорогу! Английские батареи отвечают!

Мы повернули и сделали большой круг вправо. Далекая стрельба продолжалась около четверти часа, потом смолкла. Нарастало, приближаясь и наполняя собой весь воздух, какое-то низкое, уверенное жужжание. Вдруг над нашими головами раздался тяжелый, резкий удар взрыва. Мы взглянули кверху. Там, в недостижимой высоте, блестя подобно бледной стрекозе на солнце, парил аэроплан. На его нижних частях были нарисованы красные и синие концентрические круги.

— Француз!—сказал Джонсон.

Аэроплан уже медленно поворачивал к югу и востоку. Позади него, казалось, не больше, чем в ста ярдах, медленно рассеивался белый дымок от разорвавшейся шрапнели. Как раз, когда мы смотрели, заговорило другое далекое орудие, и снаряды посыпались на него, когда он уже скрылся из наших глаз за деревьями.

Мы взобрались на крутой холм и спустились по другую сторону по узкой, белой, немощеной дороге. Перед нами на высоком плоскогорье, между Дунаем и Савой, расположился Белград, «Белоград» сербов, Белый Город, раньше, когда они впервые сошли с венгерских гор, бывший древним, а теперь один из самых молодых городов в мире. Внизу, у подножья холма, терпеливо

стояли на солнце две длинные шеренги австрийских пленных, запыленных от длинного перехода из Раковицы. Два сербских офицера опрашивали их:

— Откуда родом?

— Я серб из Боснии, господине,—отвечал, скаля зубы, пленный.

— Кратти (кроат) с гор.

— Ладно, братцы,—заметил офицер,—нехорошо, что вы деретесь за швабов.

— Ах,—ответил кроат,—мы просили разрешения драться за вас, но нас не отпустили.

Все засмеялись.

— А ты откуда?

— Итальянец из Триеста.

— Чех.

— Я—мадьяр!—проворчал коренастый человек с угрюмым лицом и ненавистью в глазах.

— А ты?

— Я руманиасси (румын),—с гордостью ответил последний.

В нескольких ярдах дальше помещался большой навес, под которым были сложены всякого рода запасы, корм для скота, сено и зерно для нужд армии; здесь на жгучем солнце австрийские пленные потели за работой, нагружая повозки мешками муки; их одежда, руки и лица были осыпаны белой мукой. Часовой с винтовкой с примкнутым штыком ходил перед ними взад и вперед и говорил:

— Хорошо, что мой дед Владислав Венц поселился в Сербии сорок лет назад. Если бы он этого не сделал, я бы грузил теперь муку с этими пленными!

БЕЛГРАД ПОД АВСТРИЙСКИМИ ПУШКАМИ

Наш экипаж громыхал, будя громкое эхо по тихим улицам Белграда. Трава пробивалась между булыжниками, по которым не ездили уже с полгода. Грохот орудий совершенно прекратился. Жгучее солнце ослепительно сверкало на белых стенах домов, и легкий теплый ветер крутил по немощеной дороге столбы пыли; трудно было представить себе, что нам грозят австрийские тяжелые орудия и что в любой момент они могут бомбардировать город, как они уже неоднократно делали.

Всюду видно было действие артиллерийского огня. Большие ямы, футов пятнадцати в диаметре, зияли посреди улицы. Снаряд сорвал крышу военного училища и разорвался внутри, выбив все окна; западная стена военного министерства осыпалась под сосредоточенным огнем тяжелых орудий. Итальянское посольство было изрешечено и изуродовано шрапнелью, и изорванный флаг висел на сломанном древке. В домах выбиты двери, крыши сползли на тротуар, оконные рамы без всякого следа стекол. Вдоль бульвара, главной и единственной мощеной улицы Белграда, разрушение было еще сильнее. Снаряды пробили крышу королевского дворца и взрыли внутренние помещения. Когда мы проезжали мимо, грязный павлин, украшавший прежде

королевские сады, кричал, стоя на разрушенной стене в то время как группа солдат на тротуаре смеялась, передразнивая его. От огня пострадали дома, сараи, конюшни, отели, рестораны, магазины и общественные здания; кроме того, было много развалин от последней бомбардировки, бывшей всего десять дней тому назад. В пятиэтажном казенном здании 30,5-сантиметровый снаряд пробил два этажа и открыл половину комнаты,—железная кровать почти висела в воздухе, а цветные обои, украшенные картинами в рамках, остались нетронутыми, по капризу взрыва. Белградский университет представлял собой сплошную массу зияющих развалин. Австрийцы сделали себе из него специальную мишень, считая, что в нем находился очаг пан-сербской пропаганды и что среди студентов существовало тайное общество, члены которого убили эрцгерцога Франца-Фердинанда.

Мы встретили офицера, принадлежащего к этому обществу—школьного товарища убийцы.

— Да,—сказал он,—правительство знало. Оно пробовало разочаровать нас, но ничего не могло сделать. Конечно, правительство не поддерживало нашей пропаганды.—Он усмехнулся и подмигнул.—Но как могло оно помешать? Наша конституция гарантирует свободу собраний и организаций... У нас свободная страна!

Джонсон остолбенел от бешенства.

— Целыми годами мы теснились, терпели неудобства в этом старом здании,—разразился он.—Но университет слишком беден, чтобы выстроиться заново. Теперь мы запросим в условиях мирного договора один из германских университетов—библиотеки, лаборатории, все оборудование полностью. У них их много,

а у нас всего один. Мы пока еще не решили, какой просить—Гейдельбергский или Боннский...

Жители стали уже возвращаться обратно в город, который они покинули полгода тому назад, во время первой бомбардировки. По вечерам, к заходу солнца, на улицах толпилось все больше и больше народа. Робко открывались немногочисленные магазины, несколько ресторанов и кафэ, где белградцы проводили все свое время, цедя пиво и глядя на проходящую фешенебельную публику. Джонсон сообщал нам массу сведений о публике, сидящей за столиками или проходящей по улице.

— Видите того маленького человечка в очках, с важным видом? Это м-р Р.—он очень тщеславен и воображает себя великим человеком. Он издает газетку «Депеша», которую выпускал здесь ежедневно под бомбардировкой и воображал себя великим героем. Про него сочинили четверостишие, которое распевает весь Белград:

По воздуху летел австрийский снаряд.
Он сказал: «Теперь я разрушу Белград, этот Белый Город».
Но когда он увидел, что попадет в Р.,
Он зажал нос и с криком «фуй» свернул в сторону.

В углу дородный, неопрятный мужчина ораторствовал перед толпой.

— Это С.—издатель «Малого Журнала». Их три брата: один из них известный велосипедный гонщик, этот же и другой брат основали газету, которая существовала шантажом. Они были отчаянно бедны. Никто не хотел поддаваться на их шантаж. И они публиковали каждый день, в течение двух недель, фотографию велосипедного гонщика с голыми руками, голыми ногами

и медалями на груди, пока какая-то богатая невеста не влюбилась в его прекрасную внешность и не вышла за него замуж.

Мы посетили старинную турецкую цитадель, которая увенчивает крутое плоскогорье, возвышающееся над слиянием Савы и Дуная. Сюда, где стояли сербские орудия, сильнее всего падал австрийский огонь; почти все здания были разрушены. Дороги и открытые пространства были испещрены воронками от снарядов. Все деревья снесены. Между двух разрушенных стен мы проползли на животе на край утеса, чтобы поглядеть на реку.

— Не высовывайтесь,—предостерегал сопровождавший нас капитан,—каждый раз, когда швабы замечают, что у нас кто-нибудь шевелится, они выпускают снаряд.

С края утеса открывался великолепный вид на мутный разлившийся Дунай; на затопленных островах из воды торчали вершины деревьев. Венгерская равнина качалась желтым морем. В двух милях, по ту сторону Савы, в ослепительном солнечном свете виднелся австрийский город Землин.

В этой низине, возвышающейся к западу и югу, таились, угрожая, невидимые орудия.

А сзади, на юго-западе, по извилистой Саве, выделялись на бледном небе Боснийские горы. Невдалеке под нами свисали с массивных быков в мутные желтые воды разбитые стальные фермы международного железнодорожного моста. Мост этот служил связующим звеном между Константинополем и Западной Европой. А над рекой высовывался полузатопленный остров Цигалия, где в окопах лежали сербские авангарды, отрезав неприятеля, расположенного на другом острове,

в расстоянии четырехсот ярдов. Капитан указал на несколько черных точек в нескольких милях дальше по Дунаю, за Землином.

— Это австрийские мониторы,—сказал он.—А тот низкий черный баркас, который стоит у самого берега, там вон на востоке, это—английская канонерка. Прошлой ночью она подкралась по реке и взорвала один австрийский монитор. Мы ждали, что в ту же минуту начнется бомбардировка города. Австрийцы обычно поступают так с Белградом.

Но день прошел, а неприятель не подал и признака жизни, кроме одного раза, когда французский аэроплан парил над Савой. Тогда разрывы шрапнели защелкали над нашими головами, и орудия продолжали стрелять еще долго после того, как биплан спустился к востоку.

— Они получили хороший урок,—самодовольно сказал Джонсон.—Последний раз, когда они бомбардировали Белград, им отвечали английские, французские и русские тяжелые морские орудия,—австрийцы не знали, что они находятся здесь. Мы бомбардировали Землин и заставили замолчать две австрийские батареи.

На следующий день мы объехали с капитаном иностранные батареи. Французская артиллерия расположилась среди деревьев на вершине высокого лесистого холма, возвышающегося над Савой. Дальше русские матросы валялись на траве около своих тяжелых орудий, а на грязных лугах позади Белграда стояли англичане, охраняя русло Дуная от австрийских судов, которые стояли выше Землина и выжидали удобный момент, чтобы проскользнуть вниз по Дунаю и доставить туркам оружие и снаряжение. Сербские батареи

представляли собой оригинальную смесь орудий. Тут были старые полевые орудия, сделанные у Крезо во Франции для первой Балканской войны; старинные медные пушки, отлитые королем Миланом в Турецкую войну, пушки разных калибров, отбитые у австрийцев, пушки, заготовленные в Вене для султана и украшенные турецкими гербами, пушки, заказанные Юан-Ши-Каем и покрытые китайскими письменами.

Из нашего окна открывался над крышами города вид на широкое течение Савы и мрачное плоскогорье, где стояли неприятельские орудия. Ночью огромный австрийский прожектор неожиданно слепил, рыская по реке и городу; лучи трепетали и гасли среди деревьев на речных островах. Мы слышали резкое пощелкивание винтовок передовых постов, лежавших в грязи, ногами в воде, и в темноте нападавших друг на друга. Однажды ночью английские батареи загудели позади города, и их снаряды свистели над нашими головами, отгоняя австрийские мониторы, которые пытались пробраться вниз по реке. В ответ загудели невидимые орудия на плоскогорье по ту сторону Савы; целый час тяжелые снаряды градом сыпались с неба, взрываясь на несколько миль позади нас, около курящихся английских орудий,— земля дрожала под нашими ногами.

— Так вы хотите посетить окопы?—спросил капитан.

Мы проехали около мили по окраине города, расположенной вдоль Савы, все время на виду австрийских орудий. Наши экипажи ехали на расстоянии двухсот ярдов друг от друга, чтобы не привлекать неприятельский огонь. Там, где мы стояли, берег выдавался в

разлившуюся реку позади деревьев на затопленном острове, который скрывал нас от австрийского берега.

— Здесь небезопасно. Нам придется проехать в лодке триста ярдов по открытой реке, под угрозой австрийского обстрела.

Предполагалось снарядить старую моторную лодку: тяжелый лист жести покрывал мотор и тонкие стальные полосы тянулись вдоль бортов. Как только мы обогнули защитную купу деревьев, солдат, который был одновременно рулевым, мотористом и судовой командой, встал и потряс кулаком по направлению австрийских орудий.

— О, трусы и сыновья трусов!—кричал он.—Почему вы не стреляете, швабские трусы? Разве один вид невооруженных сербов заставляет трястись ваши колени?

Так он говорил, пока лодка не вышла за пределы обстрела от Цзигалня и не очутилась бок о бок с огромной грузовой плоскодонкой, выкрашенной в черный цвет, с бойницами для ружей. Но ее носу крупными желтыми буквами стояло «Небойша», что значит по-сербски—«дредноут».

— Это сербский флот,—засмеялся капитан.—Мы выиграли с ним большое сражение. В январе, в одну темную ночь, мы набили его битком солдатами и сплавили вниз по реке. Таким образом мы захватили этот остров.

От «Небойши», между полузатопленными дубами, ненадежные шаткие доски пешеходного мостика вели к узкой полоске земли, не больше десяти футов ширины и двухсот ярдов длины. Здесь солдаты вырыли себе грубые земляные прикрытия и лежали на грязной насыпи, небритые, немытые, одетые в лохмотья, питаясь скудной, плохой пищей. С головы до ног они были в

грязи, точно животные. Многие окопы лежали ниже уровня реки, и в них стояла вода; всего два дня тому назад река поднялась настолько, что вода доходила людям до пояса. Мы не могли пройти по линии окопов и сели в маленькие плоскодонки, которые солдаты подталкивали баграми.

С десяток щетинистых рослых мужчин в меховых шапках, с винтовками и ручными гранатами за поясом, работали под надзором вооруженных часовых, вероятно, рыли окопы.

— Это комитаджи,—сказал капитан,—нерегулярные волонтеры, у них нет военной формы, они набраны из полубандитов-полуреволюционеров, целыми годами они вели отчаянную борьбу против турок, болгар и греков в Македонии.

— Они под охраной,—объяснял он,—они отказались рыть траншеи и исправлять дороги. «Мы пришли, чтобы драться со швабами,—говорят они,—а не рыть ямы. Мы воины, а не землекопы».

Сняв шляпы, мы осторожно выглянули сквозь бойницы для ружей. Однообразная, бесплодная земля простиралась на четыреста ярдов между вершинами деревьев, выступающими из воды,—все это прежде было землей, и там находились австрийцы. Осторожно вынырнула синяя остроконечная шапка—солдат рядом со мной выругался и выстрелил. Почти сейчас же со стороны неприятеля посыпался беглый огонь. Пули свистели над нашими головами, и с деревьев посыпались листья. Наш лодочник оттолкнулся от «Небойши» и направил лодку вверх по течению, потом повернул в канал, доступный австрийскому обстрелу.

— Мы подойдем ближе,—сказал он,—может быть, это соблазнит их.

Неуклюжая, грубая лодка шла свободно. Он встал на корму, уперся руками в бока и затянул насмешливую солдатскую песню:

Император Франц-Иосиф едет на муле...
Он надел уздечку на хвост, вместо головы,
И теперь наступит конец Австрии!

Едва он кончил,—лодка находилась на расстоянии пятидесяти ярдов от спасительного острова,—как нас оглушил внезапный грохот. Мы все сразу попадали на дно лодки, как раз в тот момент, когда что-то просвистало в трех ярдах над нашими головами; крыша со здания на берегу слетела, воздух загудел от летящих осколков черепицы и свинцовых пуль—шрапнель.

— Эй!—закричал рулевой.—У нас довольно черных пуль, чтобы отправить вас на тот свет.

Теперь мы находились под защитой деревьев. Лодка, полная солдат, отошла от берега,—они неистово гребли.

— Туда нельзя!—крикнул им капитан.—Они стреляют.

— Поэтому-то мы и поплывем туда,—закричали они все вместе, как дети.—Может быть, они будут стрелять в нас!

Они обогнули остров, крича и высоко всплескивая веслами...

Завтрак был приготовлен среди развалин большого сахарного завода, где расположился штаб полковника, командующего островом. Чтобы попасть туда, мы перешли мост из досок, положенных на топкое болото из

темного сахара—целые тонны его растаяли под обстрелом австрийских орудий.

Полковник, два капитана, четыре лейтенанта, капрал и двое штатских сели с нами.

В Сербии, повидимому, нет глупой традиции, что такая фамильярность между офицерами и нижними чинами нарушает дисциплину. Сколько раз приходилось нам видеть в ресторанах, как штатский или унтер-офицер подходит к столу, где сидят офицеры, отдает честь, а затем пожимает всем руки и присаживается. И здесь сержант, который прислуживал за столом, сел с нами, чтобы пить кофе, и был официально представлен нам.

Один из штатских был до войны секретарем сербского Национального театра. Он рассказал нам, что по договору требуется пятьдесят представлений Шекспира в сезоне, и что сербы предпочитают «Кориолан» всем другим пьесам.

— «Гамлет»,—сказал он,—был когда-то очень популярен. Но мы не играли его уже пятнадцать лет, потому что единственный актер, который мог играть эту роль, умер в 1900 году.

ВДОЛЬ ФРОНТА

Медленно плывя на запад на высоте тысячи футов, жужжали два французских аэроплана, прозрачные в ясном утреннем солнечном свете. Внизу и слева лениво разрывались шрапнели. Гул взрыва и жужжание мотора доносились вниз немного позднее. Наши экипажи взбирались на холм, усеянный виллами, утопающими в свежей зелени и цветущих фруктовых деревьях; оглядываясь назад, мы в последний раз увидели Белград, Белый Город, его плоскогорье и австрийский берег. Затем мы погрузились в извилины изрезанного колеями проселка, который вился под сплетавшимися вершинами деревьев—мимо белых крестьянских хат, крытых тяжелой турецкой черепицей, и полей, где женщины в расшитых кожаных безрукавках и холщевых юбках правили волами, полученными из армии, в сопровождении солдат, которые шли за деревянным плугом.

Длинные полосы домотканного холста висели на оградах и заборах, выбеливаясь на солнце. Кроме солдат, других мужчин не встречалось.

Мы повернули внутрь страны по узким одноколейным проселочным дорогам,—теперь никто не мог пользоваться большой дорогой вдоль Савы, потому что она находилась под обстрелом австрийских окопов, лежавших за триста ярдов через реку. Несколько раз возница

терял дорогу. Мы переезжали в брод быстрые горные потоки, омывавшие подножки у экипажа, погружались по ступицу в грязные лужи, пробивались через извилистые, глубокие овраги вдоль высохших русл потоков и спускались с крутых холмов сквозь чащу огромных дубов, где стада полудиких свиней визжали, убегая от лошадей. Однажды мы проехали мимо трех огромных надгробных камней, выше человеческого роста, увенчанных высеченными тюрбанами, которыми украшают пустые гробницы хаджи. Огромные кривые ножи были высечены у их подножья. Джонсон спрашивал о них крестьян, но они только отвечали: «Герои», и пожимали плечами. Дальше нам встретился белый каменный саркофаг в пещере в холме; римская гробница, в которой он некогда стоял, была разбита и разобрана крестьянами, может быть, сотни лет назад. Потом колея пошла посреди старинного деревенского кладбища; его поросшие мохом дряхлые греческие кресты опирались на плотные связки хвороста. Всюду вдоль дороги стояли под маленькими крышами новые каменные кресты, раскрашенные золотой, зеленой и красной красками. Они,— объяснил Джонсон,—поставлены в память тех, которые умерли далеко и тела которых не были найдены. Деревья, травы и цветы буйно росли по холмам. Прошлогодние поля обратились в заросли сорных трав. Дома с полуотворенными дверями и зияющими окнами стояли среди запущенных виноградников. Иногда мы скатывались вниз по широкой улице безмолвной деревни, где старики едва дотаскивались до дверей взглянуть на нас; дети возились с пыли с похожими на волков овчарками, а женщины шли домой с полей с мотыгами на плечах. Это была страна «ракиа»—родина натуральной

сливянки; огромные сады груш и слив наполняли благоуханием тяжелый воздух.

Мы остановились в «механе», или деревне, чтобы съесть завтрак, который мы взяли с собой, так как пищи не хватает даже для жителей. В темном прохладном помещении с грубыми деревянными столами на земляном полу старые крестьяне с детской простотой сняли перед нами свои шапки и со степенной вежливостью приветствовали нас.

— Добар дан, господине! Добрый день! Надеемся, ваше путешествие приятно!

Сгорбленный старик-хозяин направился к своей земляной печи, приготовил турецкий кофе в медных чашках и рассказал, как пришли австрийцы.

— Солдат с ружьем и штыком зашел в эту дверь. «Мне надо денег,—сказал он,—все, что у вас есть—живо!» Но я ответил, что у меня нет денег. «У вас должны быть деньги. Ведь вы содержатель постоялого двора?» Я опять сказал, что у меня ничего нет, тогда он ткнул меня штыком сюда. Видите?—Он, дрожа, поднял рубашку и показал длинный, еще не заживший шрам.

— Тиф!—Джонсон указал на изгородь перед домами по обе стороны дороги. Почти на каждом доме был нарисован белый крест, иногда два или три.—Каждый крест означает случай тифа в доме.

За полмили я насчитал их больше ста. Казалось, что это беззаботная плодородная страна не родила ничего, кроме смерти или памятников о смерти.

К вечеру мы поднялись на холм и снова увидали широко разлившуюся Саву, залившую все долины, а

за ней подножья холмов, зелеными рядами подымавшихся к Боснийским горам. Здесь река делала большой поворот и наполовину скрывалась среди лесистой равнины; и казалось, что почти совсем под водой лежали красные крыши, белые круглые башни и стройные минареты Обреноваца. Мы спустились с холма и выехали на большую дорогу, которая шла как раз над уровнем реки, подобно плотине, через места, опустошенные водой. По сторонам болота стояли белые аисты и важно ловили рыбу. Почва немного поднималась, образуя островки среди затопленного пространства; мы прогромыхали по каменистой немощеной улице маленького белого сербского городка,—низенькие домики стояли в гуще зелени, окна были двойные, для защиты от летучих мышей.

Нас с большой церемонией пригласили в дом Гайа Матича, почтмейстера, нервного, подвижного человека со сладкой улыбкой, который приветствовал нас в дверях. Рядом с ним стояла его жена, волнуясь, беспокоясь и гордясь честью приема иностранцев. Вся семья проводила нас в спальню, которую они украсили чистым бельем, самыми веселыми вышивками и вазами с болотными цветами. Два офицера из штаба дивизии стояли в стороне, ломая голову, как бы угодить нам; маленькая девочка принесла блюдо с яблоками, варенье из слив и обсахаренные апельсины; солдаты почистили нам обувь, а другие стояли около умывальника, ожидая, чтоб полить воду нам на руки; сам Гайа Матич расхаживал по комнате с бутылкой «ракиа» в руках, предлагая нам выпить, приводя в порядок стулья и столы, и пронзительно и раздраженно кричал, отдавая приказания слугам.

— Нам оказана большая честь,—старался он дать нам понять на смешанном ломаном французском, немецком и английском языке.—В Сербии—это высшая честь, если иностранец посетит твой дом.

Мы несколько раз испытали на себе это изумительное сербское гостеприимство по отношению к иностранцам. Однажды, помню, мы попали в незнакомый город, куда уж неделями не приходили новые запасы продовольствия и где совсем не было табака. Мы зашли в одну лавку, чтобы попытаться найти папирос.

— Папирос?—произнес лавочник, всплескивая руками.—Папиросы теперь на вес золота.—Он с минуту смотрел на нас.—Вы иностранцы?—Мы ответили утвердительно. Тогда он открыл железный ящик и протянул каждому из нас по пачке папирос.—Платы не надо,—сказал он,—вы—иностранцы.

Наш друг Матич со слезами на глазах указал на две фотографии на стене: одна—старика с белой бородой, и другая—молоденькой девушки.

— Это мой отец,—сказал он,—ему было семьдесят семь лет. Когда австрийцы взяли Шабац, они отправили его военнопленным в Будапешт, и он умер в Венгрии. А что касается вот этой, моей сестры, они тоже ее забрали... и с августа я о ней ничего не слышал, я не знаю—жива она или умерла.

Здесь мы впервые услышали об австрийских жестокостях на западном фронте. Сначала мы им не верили; но позже, в Белграде, Шабаце, Лознице, о них свидетельствовали и те, кому удалось бежать, и семьи тех, кто умер или был в тюрьме, и показания под присягой, и австрийские официальные списки пленных, отправленные в сербский Красный Крест. При взятии

пограничных городов, австрийцы сгоняли все гражданское население—женщин, стариков и детей—и гнали их в Австро-Венгрию, как военнопленных. Больше семисот взяли таким образом из Белграда и полторы тысячи из одного Шабаца. В официальных списках военнопленных австрийского правительства цинично значилось: Ион Туфечи—84 лет; Даринка Антич (женщина)—23 лет; Георг Георгевич—78 лет; Войслав Петрониевич—12 лет; Мария Венц—69 лет. Австрийские офицеры объясняли это тем, что то была не война, а карательная экспедиция против сербов!

За общим офицерским столом мы узнали, что ехать в Шабац надо ночью, так как дорога проходила вдоль реки, под боком у линии неприятельских траншей. После обеда весь штаб проводил нас обратно к Матичу. Весьма кислое местное вино лилось за столом рекой, и мы шли обнявшись, с криком и песнями, по деревенской улице. Когда Матич услыхал, что мы не останемся у него ночевать, он почти заплакал.

— Пожалуйста, останьтесь,—кричал он, хватая нас за руки.—Или мой дом недостаточно хорош для вас? Или вам чего-нибудь недостает?

Наконец он со вздохом втолкнул нас в столовую, здесь мы сели на прощанье, так как Матич и его жена принесли вина и сушеного и соленого мяса, чтобы возбудить нашу жажду. Вежливый офицер спросил Джонсона, как пьют за здоровье во Франции; но все, что он мог сказать, было: «A votre sentir!»—что он и повторял без конца. Мы пили за здоровье мадам Матич, чем славная женщина была ужасно смущена. Мы пели американские песни под оглушительные аплодисменты. Кто-то набил карманы Робинзона сушеным мясом,

которое вывалилось из его платья несколько дней спустя. Было уже за полночь, а мы думали выехать в десять. Матич вдруг вскочил на ноги.

— Побратим!—крикнул он, и все хором поддержали:

— Побратим!

— Теперь мы будем с вами «побратим»—братьями по крови,—сказал он.—Это старинный сербский обычай. Проденьте вашу руку в мою—так!

Один за другим мы сцеплялись локтями и пили на «ты», потом обнимали один другого за шею и крепко целовались в обе щеки. Компания кричала и стучала по столу. Дело было сделано, и с этого дня мы стали «побратим» с Гайа Матичем.

Наконец мы сели в экипажи, возницы взмахнули кнутами, и мы поехали под крики: «С богом! Прощайте! Лаку ноћ! Доброй ночи!»

Месяц заходил. Когда мы проезжали по окраине деревни, к нам подъехали верхом две молчаливые вооруженные фигуры и сопровождали нас, пока мы не миновали опасной зоны. Опять мы тряслись по камням или вязли в глубокой грязи; лошади шлепали по воде, которая доходила до ступицы там, где разлившиеся реки покрывали дорогу. Возницы не щелкали больше бичами и не кричали, они тихо погоняли лошадей, так как нас могли услышать в австрийских окопах. Не было слышно ни звука, кроме ударов конских копыт и поскрипывания экипажа.

Луна медленно заходила. Горная стража исчезала так же таинственно, как и появлялась. Мы еще тряслись. Беспредельное звездное небо мягко светлело у горизонта, а на востоке, над большими горами Тсер, где сербы отбили первое наступление, потянулись бледные

серебряные полосы. Под зеленым холмом, увенчанным огромной белой греческой церковью, разбитой артиллерийским огнем, стоял табор из сотни телег, запряженных волами; возницы спали, закутавшись в пестрые одеяла, или сидели на корточках вокруг яркого огня, который окрашивал их лица в красный цвет. Они направлялись в Белград и везли продовольствие для голодающей страны, откуда мы ехали.

Из-за гор поднималось солнце, горячее и ослепительное, и мы загромыхали по улицам Шабаца, между бесконечными рядами разоренных, опустошенных и покинутых домов. Город еще спал, и только одно кафэ было открыто. Мы остановились и заказали кофе. Есть ли что-нибудь поесть? Мы были голодны. Женщина покачала головой.

— В Шабаце нет даже хлеба.

— Яиц!—закричали мы.

Джонсон безнадежно всплеснул руками:

— Дорогие сэры! Простите меня. Здесь нет яиц. Здесь война!

— Но я видел кур на улице,—настаивал я.

В конце концов Джонсон согласился спросить женщину.

— Здесь нет яиц для продажи,—отвечала она.—Но так как «господине»—иностранцы, то мы дадим им несколько штук.

Шабац раньше был богатым городом, столицей цветущего округа Сербии, Мачвы, и центр крупной торговли фруктами, вином, шерстью и шелком. В нем две с половиной тысячи домов. Некоторые разрушены снарядами; другие сожжены, разбиты и разграблены. Почти каждый дом опустошен. Австрийцы забирали холсты, картины, детские игрушки, домашнюю утварь, а

что было слишком тяжело или громоздко нести, то разбивали топорами. Лошадей ставили в спальни богатых домов. В книжных магазинах все книги валялись разбросанные среди мусора на полу, старательно вырванные из переплетов. Это была ужасная картина!

Во время первого наступления много жителей осталось в Шабаце, надеясь, что их не тронут. Но солдаты набросились, как дикие звери, на город, сжигая, грабя и бесчинствуя.

Мы видели опустевший «Отель Европа» и почерневшую, поврежденную церковь, куда три тысячи человек мужчин, женщин и детей были загнаны без пищи и питья на четыре дня, а потом разделены на две группы: одну отправили в сторону Австрии, как военнопленных, другую погнали впереди армии, когда она двинулась на юг против Сербии, это—вовсе не слухи или истерические обвинения, как это часто бывало во Франции и Бельгии, это—факт, доказанный многими свидетельскими показаниями сотен людей, совершивших этот ужасный поход. Мы говорили с некоторыми из них; одна очень старая женщина была принуждена под ударами итти впереди войска пешком более тридцати пяти миль в Вальево. Башмаки разорвались у нее на ногах, и десять миль она шла босиком по каменистой дороге.

В префектуре мы просмотрели сотни докладов, письменных показаний под присягой, фотографий, указывавших имена, возраст, адрес жертв и подробности зверств, совершенных австрийцами.

На снимке, сделанном в деревне Лечница, видно более сотни женщин и детей, скованных вместе, и их отрубленные головы, лежащие кучей. В Кравице стариков, женщин и детей мучили, жестоко оскорбляли, а

затем убиавли. В Ивермоваце пятьдесят человек были загнаны в погреб и сожжены заживо. Пять беззащитных городов были снесены до основания, сорок две деревни разграблены и большая часть их жителей перебита. Тиф, занесенный в страну австрийской армией, все еще бешено свирепствовал в Шабаце и во всем округе. А там нет ни докторов, ни больниц.

В этом некогда процветавшем и красивом городе жило теперь не более двухсот человек, гнездившихся в разрушенных домах, без запаса пищи. Мы бродили под палящим солнцем по пустынным улицам, прошли через площадь, где прежде устраивалась ярмарка всей северо-западной Сербии, и крестьяне собирались в своих ярких одеждах за сотни километров, с богатых горных долин и плодородных равнин. Был рыночный день. Несколько жалких женщин в лохмотьях стояли унылые возле своих корзин, а на ступенях опустевшей префектуры сидел молодой человек, которому венгры штыком выкололи глаза. Он был высокий и широкоплечий, с румяными щеками, одетый в ослепительный домотканный холст—летняя одежда крестьян. Он играл грустную мелодию на сербской скрипке, с изображением лошадиной головы на грифе, и пел:

— Я печален, потому что не могу видеть солнце и зеленые поля и цветущие сливовые деревья. Бог благословит вас, кто подаст мне грош (четыре цента). Благословение на всех, кто подаст.

Префект указал на разбитые здания.

— Когда кончится война, мы построим новый Шабац,—сказал он.—Правительство уже издало приказ, что никто не должен ремонтировать разрушенные дома—они должны быть выстроены целиком заново.

ИСТРЕБЛЕННАЯ НАЦИЯ

На следующее утро мы сели в поезд узкоколейной железной дороги, пересекающей богатейшую часть Мачвы и соединяющей долину Дрины с долиной Савы. За нашим вагоном следовало четыре товарных, набитых беженцами, главным образом женщинами и детьми, возвращающимися домой, откуда они бежали пешком, бросив все, шесть месяцев тому назад, перед австрийским наступлением. Мы медленно двигались по обширной плодородной равнине, белой от цветущих фруктовых садов и зеленой от высокой травы и молодой зелени, между невозделанных полей, заросших сорными травами, и мимо белых хат, почерневших от огня. Вся эта местность была выжжена и разграблена, а население перебито. Не было видно ни одного вола, и на целые мили ни одного человека. Мы проезжали через маленькие городки, где трава росла на улице и не было и признака живущих людей. Иногда поезд останавливался, чтобы дать сойти беженцам. Они стояли около полотна со всем своим имуществом в мешках за плечами, молча глядя на развалины своих домов.

Префект ехал вместе с нами, останавливая поезд на час, или около того, в разных деревнях, чтобы показать нам их состояние. Так мы посетили Прнжавор, прежде небольшое богатое местечко с тремя тысячами жителей,

а теперь пустошь с сожженными и разрушенными строениями.

На станции нам представили Самуровича—депутата Скупщины—высокого, неуклюжего старика-хуторянина в крестьянской одежде из грубой коричневой шерсти. Он указал на разлившуюся около железнодорожного полотна грязную воду, где возвышался земляной холмик с двумя деревянными крестами.

— Это могила моих стариков—отца и матери,—сказал он спокойно,—швабы убили их как комитаджей.

Мы пошли в город, на площадь, где прежде стоял дом, а теперь была только черная груда пепла и обгорелых бревен.

— На этой площади,—продолжал он,—венгры собрали сотню жителей. Они не могли втиснуть их всех в дом, поставили оставшихся вплотную к стене, связали их веревками и потом подожгли дом, а тех, кто пытался бежать, пристреливали... Этот длинный низкий вал из грязи—их могила.

Рассказ показался мне слишком ужасным и невероятным, и я навел справки. Но все оказалось правдой. Швейцарские доктора осматривали место и сняли фотографии с трупов, прежде чем их погребли; все это были женщины, старики и дети.

На улице после недавних дождей стояли лужи, покрытые зеленой тиной. В воздухе запах разлагающихся трупов и нечистот. Почти перед каждым домом на ограде нарисован зловещий белый крест, указывающий, что в доме тиф. В воротах одного двора, перед большой братской могилой стояла сморщенная хромая женщина, окруженная девятью детьми—все моложе пятнадцати лет. Двое почти не могли держаться на

ногах,—смертельно бледные, они тряслись в лихорадке,—трое других, из которых один был совсем ребенком, были закутаны в тряпки и покрыты коростой и болячками. Женщина указала на могильный холм.

— Я потеряла всех, кроме них,—там мой муж и моя сестра, мой отец, мой зять и его жена. И я не могу прокормить этих больных детей. Сгущенное молоко, которое правительство посылает детям, городской голова выдает только своим политическим единомышленникам.

Нищая женщина с детьми—вот все, что осталось от богатой «задруги». Два длинных одноэтажных белых дома, окнами на улицу, которая поворачивала здесь под прямым углом, образовывали закрытый квадратный двор, поросший высокой травой и дикими цветами, с большим дубом. Вход в дома был из сада, а позади стоял другой дом, со службами, конюшнями и помещением для гонки водки из слив—«ракиа». Здесь жило три поколения; мужчины, женщины, дети, старики, старухи—всего больше сорока человек,—владели сообща землей и имуществом. Здания были разрушены и сожжены; из обитателей одни погибли на войне, других убили венгры, тиф подобрал остальных.

— Они делали ужасные вещи,—говорил старик Самурович, когда мы шли обратно в поезд.—Мы счастливы, что отплатили австрийцам за все, разбив их в декабре.

Это необыкновенное отсутствие озлобления мы встречали всюду в Сербии; народ, повидимому, считал, что поражение отомстило австрийцам за все мрачные ужасы, за убийства, за тифозную эпидемию.

Мы ехали по лугам, покрытым лютиками и живокостью, через фруктовые сады, отягченные цветами персиков, яблонь, вишен и слив; здесь турецкое влияние совершенно исчезло, и грязные дома выглядели вполне сербскими—вместо красной черепицы остроконечные крыши из грубой дранки. Вскоре над лежащей к западу равниной засинели Боснийские горы, и мы приехали в Лозницу—опять под обстрел австрийских пушек за рекой.

Тут находился тифозный госпиталь—и мы его осмотрели. Прежде здесь была школа. Когда сербский доктор открывал двери одной комнаты за другой, оттуда доносилось тошнотворное зловоние грязного, немытого белья и непроветриваемого помещения. Все окна были закрыты. Больные—в большинстве случаев солдаты в лохмотьях—лежали, тесно прижавшись плечом к плечу, на вонючей соломе, набросанной на полу. Не было и следа дезинфекции. Некоторые слабо поднимались на локти, вяло соскребывая с себя паразитов; одни метались и кричали в бреду, а другие лежали побледневшие, с полуоткрытыми глазами, точно мертвые.

— Эпидемия слабеет с каждым днем,—сказал доктор, потирая руки.—Две недели тому назад у нас лежало четыреста, а теперь всего восемьдесят шесть.—Он в раздумьи поглядел на больных, притиснутых один к другому так, что они почти лежали друг на друге.—А тогда у нас было еще теснее.

В сумерки мы сидели за столиком кофейни на большой площади в Лознице, пили турецкий кофе и ели черный хлеб и каймак—очаровательный желтый сыр. В сумеречном вечернем свете волы лежали около телег, а крестьяне, одетые в белый холст, разговаривали, стоя

большими группами. Из десятка дверей питейных лавок вокруг большой площади выливались потоки желтого света и доносились взрывы скрипки и пения. Мы встали и подошли к одной из них; хозяйка, худая женщина с желтыми волосами, заметила нас и пронзительно закричала:

— Чего вы стоите там на улице? Чего не войдете сюда и не сядете за мои столы? У меня есть хорошие вина, пиво и коньяк.

Мы кротко послушались ее совета.

— Мы американцы,—объяснил я ей, как мог,—и не знаем вашего языка.

— Это не причина, чтобы вам не пить!—нагло закричала она и шлепнула меня по спине.—Какое мне дело, какой язык вы запиваете!

Внутри играли двое цыган—один на скрипке, другой на кларнете—а старик-крестьянин, откинув назад голову, пел в нос песню о бомбардировке Белграда.

Над острыми изогнутыми крышами домов к западу от круглого купола греческой церкви распространялся мрак по теплому желтому небу, большие деревья очерчивались, подобно кружеву, по небосклону, где уже зажигались бледные звезды. Узкий серп месяца поднялся над затемненными Боснийскими горами, далекой родиной сербской песни...

ГУТЧЕВО И ДОЛИНА ТРУПОВ

На следующее утро еще до рассвета мы уже выехали верхом из Лозницы и скакали галопом к горе Гутчево, по дороге, которая шла к югу, постепенно повышаясь рядами лесистых гребней, и достигала трех тысяч футов высоты. Это была та вершина Гутчево, которую австрийцы захватили и укрепили во время своего второго наступления. Под убийственным огнем сербы взбирались шаг за шагом на ее восточную сторону, до тех пор, пока их окопы оказались также на узком гребне, и тогда по фронту в десять миль, на вершине дикой горы, произошло то необычайное «сражение над облаками», которое длилось пятьдесят четыре дня и закончилось отступлением сербов только потому, что третье наступление разбило их позиции ниже, при Крупени.

После поражения при Вальево австрийцы оставили Гутчево без сопротивления.

Веселый молодой капитан, сопровождавший нас, был прежде офицером комитаджей, к которым его послало правительство организовать восстание сначала в Македонии, а затем в австрийской Боснии и Герцеговине.

— Прежде чем поступить в комитаджи,—сказал он,—нас посылали в университеты Берлина и Вены изучить организацию революций, особенно итальянской Risorgimento...

Мы свернули на проселочную дорогу, утопающую в грязи, потом на узкую колею, где могли пройти только мулы и пешеходы, вьющуюся кверху между огромными дубами и ясенями, теряющуюся в быстрых горных ручьях и заваленную хворостом. Тяжелый подъем привел нас на вершину первой горы, откуда нам была видна вершина «Вод Эмины», как ее прозвали турки, поднимающаяся над небольшой долиной громоздкими сверкающими глыбами черных скал, поросших молодой зеленью.

Высоко на холмиках стояли белые хаты деревни, полускрытой в буйном цвету слив. Их окна широко зияли, двери лениво раскачивались взад и вперед. За стеной, которую нам не было видно, женский голос пронзительно и однообразно выводил, с истерическими выкриками, монотонное, похоронное причитание над умершим. Капитан остановил лошадь и начал громко звать; наконец худая, сухощавая женщина медленно подошла к нам через фруктовый сад.

— Есть у вас ракиа, сестра?

— Има. Есть.—Она ушла и вернулась с каменным кувшином и сосудом с длинным горлышком, из которого можно было пить.

— Что это за место?

— Это «Богатая Деревня Винокуров».

— А где весь народ?

— Все вымерли от пятнистой лихорадки (тифа).

Мы двинулись дальше в золотой тишине, тяжелой от благоуханий сливовых деревьев и жужжания пчел. Плач умирал позади. Здесь проезжая дорога кончилась, а выше шла горная тропа, доступная только охотникам и стадам коз, но теперь выбитая обозами и протоптанная тысячью ног.

— Здесь армия взбиралась на Гутчево,—сказал капитан,—и эти следы—следы пушек, которые мы протащили сюда.—Он указал на высящиеся скалы «Вод Эмина».—Лошади здесь не годились, и волы дохли от усталости. Приходилось втаскивать их сюда—сто двадцать человек на каждую пушку.

Тропинка вилась кверху через бурливый поток, который мы перешли вброд. Здесь она прекратилась; на другой стороне глубоко изрезанный склон горы высился почти отвесно на пятьсот футов. Мы спешились и повели спотыкающихся, обнюхивающих гору лошадей, идя зигзагами между уступами крошащихся скал.

— Понадобилось три дня, чтобы втащить сюда пушку,—задыхался капитан.

То отдыхая, то идя пешком, то проезжая верхом короткие ровные места, мы взбирались через лес на горный хребет, усеянный медными обоймами от патронов, обрывками кожи, военной формы и колесами от разбитых пушечных лафетов. Всюду в лесах встречались брошенные шалаши из листьев и ветвей, и землянки, в которых сербская армия прожила два месяца в снегу. Поднявшись выше, мы заметили, что нижние части деревьев были покрыты листьями, а верхушки как бы засохли; постепенно, по мере того как мы поднимались, мертвые части понижались, и почти половина леса стояла сухая и расщепленная от града пуль; затем пошли деревья, лишенные сучьев. Мы пересекли две линии глубоких окопов и взобрались на обнаженную вершину Гутчево, которая прежде была покрыта лесом, а теперь только неровными пнями.

По одну сторону этого открытого пространства находились сербские окопы, а по другую—австрийские

Только два десятка ярдов отделяли их друг от друга. То тут, то там оба окопа погружались в огромные ямы, сорок футов в окружности и пятьдесят футов глубины, куда закладывали мины и динамит. Повсюду громоздились неровные кучи земли. Вглядевшись пристальней, мы увидели ужасную вещь: из этих маленьких насыпей торчали куски мундиров, фуражки с прилипшими волосами, на которых еще висели лохмотья мяса; белые кости с гнилыми кистями на концах, окровавленные ноги, от которых воняло смазными сапогами. Страшный запах повис над этим местом. Стаи одичалых собак укрывались на краю леса, а вдали две из них рвали что-то полузарытое в земле. Капитан молча вынул револьвер и выстрелил. Одна собака взметнулась и упала подергиваясь, потом затихла,— другая с рычанием убежала за деревья, и в то же мгновение из глубины леса отовсюду послышался в ответ дикий волчий вой, на целые мили вдоль поля сражения.

Мы шли по трупам: так часто они лежали—иногда их ноги торчали в провалах гнилого мяса, хрустели кости, неожиданно открывались маленькие ямки, ведущие глубоко вниз и кишащие серыми червями. Большинство трупов было покрыто легким слоем земли, частью смытым дождем,—другие совсем не были зарыты. Груды австрийцев лежали так, как они упали в отчаянной атаке, нагроможденные, в позах стремительного движения. Среди них попадались сербы. В одном месте полусъеденные скелеты австрийца и серба лежали сомкнутые вместе, их руки и ноги переплелись в смертельном объятии, которое даже теперь невозможно было разнять.

Позади фронтовой линии австрийских траншей тянулись проволочные заграждения; большинство людей, погибших в этой ловушке смерти, были из славянских округов Австрии, которых под угрозой револьвера гнали сражаться против своих братьев.

На шесть миль вдоль вершины Гутчево трупов было нагромождено тысяч десять, по словам капитана. Отсюда мы могли видеть на сорок миль кругом зеленые горы Боснии; серебряную Дрину; маленькие белые деревни и ровные дороги; равнины с полями, зелеными и желтыми от новых посевов и коричневыми от вспаханной земли; башни и большие дома австрийского города Зворник, ютящегося вдоль извилистой реки. К югу длинными рядами—которые, казалось, двигались—поднимались и обрывались далекие вершины Гутчево,— вдоль них извивалась, насколько хватал глаз, двойная линия траншей и простиралось зловещее поле сражения...

Мы ехали среди фруктовых садов, отягченных цветами, больших дубов и буков и цветущих каштанов, по высоким лесистым холмам, склоны которых разбивались на сотни пастбищ, переливавшихся на солнце, как шелк. То тут, то там из пещер выбивались ручьи, и светлые потоки устремлялись вниз с заросших зеленью обрывов, с Гутчево, которое турки называют «Горою Вод»,—с Гутчево, насыщенного гниющими трупами.

Вся эта часть Сербии снабжается водой потоков с Гутчево, а с другой стороны они стекают в Дрину, а затем в Саву и Дунай, протекают через страну, где миллионы людей пьют эту воду, моются в ней и ловят рыбу. До Черного моря течет яд Гутчево...

К концу дня мы спустились на главную проезжую дорогу в Вальево, по которой австрийская армия вошла в самое сердце страны, и вечером прозвенели подковами по главной улице беленькой маленькой деревни Крупени, где супрефект, начальник полиции, городской голова и офицеры штаба дивизии вышли встречать нас, одетые в свои лучшие мундиры. Наш обед состоял из жареных молодых поросят, разрезанных на куски, пива, вина, ракиа, коньяка и «питта смессон'а»—жирных пирожков с мясной начинкой.

В теплом мраке весеннего вечера доносился визг волынок, топот ног и отрывистые дикие крики. Мы высунулись из окна. По мощеной булыжником улице маршировал высокий цыган с сербскими трубами, торчащими у него под мышкой, а позади него шли сотни солдат, рука в руку, раскачиваясь в своеобразной грубой польке, в «коло», которое танцуется здесь повсюду. Они шли, раскачиваясь и громко крича, пока не дошли до деревенской площади; здесь они образовали большой неправильный круг с цыганом посредине. Мотив перешел в быстрый дикий темп. Танцоры взмахнули высоко руками и быстрее закружились во всевозможных вариациях—каждый по-своему, как принято в его деревне,—и во время танцев они с громким смехом распевали короткие куплеты.

— По воскресеньям крестьяне во всей Сербии собираются в своих деревнях на площади и танцуют «коло»,—объяснил капитан.—Есть «коло» для свадеб, «коло» для крестин, «коло» для всякого случая, и каждая политическая партия имеет свое «коло» для избирателей. То, что они танцуют теперь—это «коло»

радикалов (правительственной партии), и песня, которую они поют—это песня радикалов:

Заплатите за меня налоги,
И я пойду выбирать вас...

Без четверти пять утра появился наш завтрак—рюмка коньяку, стакан чая и крошечная чашка турецкого кофе,—это, пожалуй, на весь день, потому что отсюда до Вальево простиралась совершенно опустошенная страна. В пять мы взобрались в повозку, запряженную волами, с дугообразным навесом из рогож, вроде крыши степной кибитки и такой низкой, что мы не могли сидеть выпрямившись. Повозка была не только без рессор, но сколочена так, что каждый толчок отдавался сотни раз и передавался каждой части тела. А путь наш лежал по самой плохой дороге в Сербии, ставшей теперь совершенно невозможной, благодаря двукратному проходу зимой двух больших армий. Большая часть дороги представляла собой тряское болото поверх валунов, лежащих в бездонной грязи,—а между Крупенью и Вальево восемьдесят километров.

— Хайде!—орал возница, нахлестывая лошадей.

Это был жалко-одетый солдат, грязный, покрытый блохами, которые скоро устроили себе банкет из меня и Робинзона. Отчаянной рысью неслись мы по мощеной булыжником улице, бились о навес, тряслись всем телом при ужасающих толчках повозки.

— Смотрите, как бегут лошади!—крикнул солдат, сияя от гордости.—Лучшие лошади во всей Сербии. Этого жеребца я назвал Воевода Мичич, а кобылу я зову Король Петр.

Он с шиком подкатил к последней кофейне в деревне, слез и сел к столу, громко стуча, чтобы подали вина. Здесь он пробыл с полчаса, обнимая хозяйку, пощелкивая детей по головам и цедя свое вино среди восторженного кружка девушек, встречавших его выходки хихиканьем. В конце концов мы сердито набросились на Джонсона, прося, чтобы он позвал возницу.

— Извините меня, господа!—возразил наш проводник.—Имейте терпенье. Это война!

И снова бешеная скачка, толчки по камням и ныряние в грязь.

— Я опаздываю!—объяснил возница.—Нам надо спешить!

— Хорошо, а зачем вы так долго сидели в кофейне?

Он поглядел на нас с удивлением.

— Мне хотелось выпить и поговорить!

Наконец лошади слишком устали, чтобы бежать, а дорога стала такая ужасная, что мы пошли пешком. Возница, покрикивая, потащил лошадей за узду, похлестывая их при переходе через грязь и груды больших камней.

Всюду остатки австрийского отступления загромождали обе стороны дороги—сотни транспортных повозок, пушечные лафеты, разбитые орудия, груды ржавых ружей и боевых патронов, мундиры, шапки, волосатые ранцы и кожаные пояса. Дорога тянулась по краю обрыва, по которому вниз в долину ниспадала река. От нее шел отвратительный запах. В эту реку бросали трупы людей и лошадей, которых находили по линии отступления. Здесь река расширялась и с ропотом неслась через огромную долину; глядя вниз, мы могли разглядеть, как чистая вода бежала над кучей вздымавшейся

одежды и распухших серых трупов; от удара при падении кости обнажались и торчали с обрывками мяса и лохмотьями одежды, колеблемой течением.

Это кошмарное путешествие длилось пять часов, пока мы не добрались до отвратительной, разрушенной деревни Завлака.

Мучимые голодом, мы поручили Джонсону достать чего-нибудь поесть. Он очнулся от легкой дремоты и начал:

— Извините меня, господа! Это...

— Мне нет дела—война это или нет!—закричал Робинзон.—Вы пойдете и раздобудете несколько яиц! Хайде!

Нам раздобыли яйца, и мы опять затряслись. Весь день мы неслись вниз по долине, которая на все пятьдесят миль была не чем иным, как могилой австрийских трупов.

Поздно вечером мы обогнули лесистый холм, где лагерные огни первой армии светили на целые мили из-под огромных дубов, а солдаты лежали около них, распевая военные песни, и очутились на улицах Вальево.

Вальево было одним из самых ужасных очагов тифа во всей Сербии. Даже теперь, когда эпидемия пошла на убыль, улицы Вальево все еще представляли собой сплошные госпитали. Нас провели в один из них.

— Теперь,—сказал сербский доктор, служивший в нем,—вы увидите хороший сербский госпиталь. Вы видели плохие, где вы были поражены отсутствием всего необходимого. Но мой госпиталь не уступит американскому госпиталю в Белграде.

Мы вошли в прихожую, начисто выбеленную, где пахло дезинфекцией. В палатах каждый больной имел свою собственную постель и лежал под чистым одеялом,

в новом чистом ночном белье; все окна были открыты для доступа солнца и воздуха. Доктор надел на мундир белый халат, вымыл руки сулемой и заставил нас сделать то же. Мы были в восторге. Но в центре госпиталя был открытый двор, выбеленный известью, по которому медленно прохаживались выздоравливающие; рядом находился маленький открытый сарай, и там лежало пять мертвецов, одетых в грязные отрепья, в которых они пришли в госпиталь. Их клали сюда дня на два, потому что сербы не хоронят людей без гробов—а в Вальево гробовщики были завалены работой; по другую сторону двора помещались открытые уборные. Двор был покатый к середине, где находился колодезь для питьевой воды!

Была там страшная палата, полная больных послетифозной гангреной, этой ужасной болезнью, которая следует за тифом почти в пятидесяти случаях на сто при заболеваниях солдат; от нее отваливается мясо и крошатся кости. Единственная надежда остановить ее—это ампутировать пораженную часть; и палата была полна людей без рук и ног, людей с отгнившими лицами и грудью. Они стонали и вопили, кричали: «Куку Майка! Святая мать, помоги мне!» Многим из них ничем уже нельзя было помочь. Их мясо гноилось, пока гниение не достигало мозга или сердца, и тогда, в ужасной агонии, наступала смерть.

Мы блуждали по Вальево два дня. Для того, чтобы остановить эпидемию, не принималось никаких санитарных мер. Самое большее, если что-нибудь поливали дезинфекцией. На улицах и в каждом дворе валялись кучи мусора. Делались слабые попытки убрать их, но уже нагромождались новые кучи сверх старых—только

со свежим запахом гнили. Это ключ к поведению сербов по отношению к санитарии. Они не понимают ее, они не имеют не малейшего представления, что это такое, поэтому они брызгали везде дезинфекцией, с полупрезрительной усмешкой над трусами, которые принимают такие меры предосторожности, и продолжали накапливать грязь, как всегда.

Поздно вечером мы пришли на вокзал, чтобы сесть в поезд на Ниш и ехать в Россию. В свете голубых электрических дуг длинные ряды пленных австрийцев грузили муку для пропитания голодной страны, пока не созреет и не будет собран новый урожай. И когда мы ждали на платформе, я с удивлением размышлял об этих сербах, их происхождении и их судьбе. Они одни из всех балканских народов были единой, не смешанной расой с тех пор, как они впервые появились в этой стране восемьсот лет назад, и только они одни создали свою собственную культуру. Римляне построили ряд горных крепостей по стране, но они не основали здесь поселений. Крестоносцы прошли здесь. Сербы защищали свои узкие проходы от татар Болгарии, дассианов Румынии, гуннов и чехов с севера, и гораздо раньше своих соседей, с вооруженной помощью европейских наций, вырвались из-под турецкого ярма, Сербия сама освободила себя; в то время как Европа навязывала иностранные династии Болгарии, Румынии и Греции, Сербия управлялась своим собственным «домом». С такими корнями, с такой историей, с империалистическими стремлениями, растущими с каждым днем, с каждым часом в сердцах ее крестьян-солдат, в какие потрясающие столкновения заведет Сербию ее честолюбие!

На платформе на часах стоял солдат—высокий, жилистый бородатый человек, одетый в остатки формы, обутый в сандалии из воловьей кожи и в высокие узорчатые носки. Он опирался на австрийское ружье, устремив взгляд поверх голов вспотевших грузчиков, к темным горам, теряющимся в далеком мраке. И, глядя на них, он пел, слегка раскачиваясь в такт, старейшую из всех сербских песен, начинавшуюся словами:

Что будет с тобою, о Сербия, мать дорогая!

РОССИЯ

С ЧЕРНОГО ХОДА

В конце мая русская армия, к удивлению всего мира, покрыла, стремительно отступая с Карпат, больше двухсот миль. В Буковине она оставила Черновицы, не дожидаясь натиска австрийских войск, и отступила за реку Прут. Мы хотели пересечь границу в том месте, где у изгиба реки сходятся румынская Молдавия, австрийская Буковина и русская Бессарабия, и пробраться на передовые позиции русского фронта.

От Дорогой, последней станции на север по румынской железной дороге,—двенадцать миль через холмы до границы. Мы наняли повозку, запряженную четверкой лошадей, но начальник дорогойской полиции с улыбкой покачал головой.

— Румынская таможня закрыта,—сказал он,—и вы не сможете переехать границу без разрешения высших властей.

Он задумчиво поглядел на нас.

— Однако, я сам сегодня вечером переправляюсь в Россию и, если хотите, подвезу вас в своем автомобиле. Я представлю вас коменданту Новоселицы, где стоит штаб третьей армии. Он мой хороший друг, я часто бываю у него. Русские—гостеприимный народ. Да, кстати, они будут очень благодарны вам, если вы привезете с собой чего-нибудь спиртного...

Мы поторопились купить коньяку и с радостью отказались от своей повозки. Как только после дождливого дня на землю поплыл серый вечер и облака стали вздыматься пологом, громоздясь золотистыми вершинами в пустоту зеленого неба, наша машина с ревом вырвалась из покрытого капелью леса. Вдали виднелись белые стены и соломенные крыши маленькой деревушки, развертывающиеся мили холмов, изумрудных от поблескивающей влажной пшеницы, черных от леса, дымящихся от испарений жирной земли. А еще дальше, влево, развертывались зеленые, золотые и коричневые земли Буковины, вправо—равнина над Прутом, позади—невысокие холмы, а за ними, повыше—русская Бессарабия. Далеко-далеко, на австрийской стороне, отчетливо виднелись белые извилистые дороги, ослепительные, все в зелени, виллы; иногда попадался сияющий городок—само процветание и порядок. На русской стороне мокрые железные крыши над грядой деревянных сараев, хаты цвета грязи, крытые соломой, невероятно грязный тракт—само несчастье.

Ничто не двигалось в этом обширном ландшафте, кроме загадочного черного дыма, медленно поднимавшегося из-за холма, за которым находились Черновицы, и пара от гудевшего поезда в Новоселице. Но воздух дрожал в глубоких ленивых звуках—то была орудийная пальба где-то вдоль Прута, дальше, чем мог охватить глаз.

Неожиданно, впереди, между холмами показалась река, поблескивая тускло, точно старая бронза. Мы пронеслись с завыванием сирены через местечко Герца—где крестьяне, в вышитых цветами белых домотканных одеждах, собравшиеся на лугу для вечерних песен и

танцев, приветствовали нас своими широкополыми шляпами,—и дальше, мимо виноградников и полей, к Маморнице, расположенной на берегу мутной реки.

Над всем западом солнечный закат простер неистовое пламя, оторочил огнем ниспадающие облака, пролил зеленое золото над полями... Сияние блекло; когда мы доехали до берега, стало совсем темно, за исключением только широкой красной полосы по самому низу северного неба. Напротив развалившийся сарай возвышался на бесплодном пустыре, покрытом песком, камнями и тиной—там Прут с рокотом катил свои весенние воды. Это уже Россия—«Святая Русь»—темная, пышная, необъятная, несвязная, незнаемая даже для самой себя.

В покинутой таможне о нашем приезде были уже оповещены. Маленький оборванный человек завизировал наши паспорта в заплесневелой и запущенной комнате. В сопровождении двух солдат мы прошли вниз к реке. Большая плоскодонка была чуть ли не наполовину наполнена водой. Прикрепленный к берегу канат тянулся в темноту, к России. Мы не могли разглядеть противоположный берег, но когда мы выплыли в мрачные волны—румынский берег стушевался за кормой и исчез. На мгновение мы, казалось, очутились среди безбрежного моря, но затем против потускневшего красного неба начало что-то расти, показались туманные очертания—громадного роста солдат держал длинное ружье с примкнутым штыком. Тулья его фуражки была задрана кверху—только русские носят их так. Около него виднелась неясная тень повозки, запряженной парой лошадей.

Не говоря ни слова, часовой положил наш багаж в коляску, и мы последовали за ним. Он вскочил на

козлы. Мы ехали по глубокому песку, щелкал бич... Неожиданно в темноте нас окликнул гортанный голос, и, из ночи, у повозки выросла фигура здоровенного солдата. Наш часовой протянул ему какую-то бумагу, и тот, держа ее вверх ногами, сделал вид, что читает ее, хотя было уже совсем темно, да и был он, повидимому, неграмотен.

— Хорошо!—проворчал он, пропуская нас.—Пожалуйста.

Последний красный луч растаял на небе, и мы с бренчаньем катились в беззвездном мраке, встревоженном беспорядочными звуками военного лагеря. Вдали, направо, слышались ровные переливы музыки, и сильный хор глубоких голосов плыл в медленной, стройной песне.

Налево перед нами неожиданно открылась поляна, озаренная бесчисленными кострами. Повсюду стояли лошади. В стороне громко ржали два привязанных жеребца. На земле лежали высокие седла, пестрые ковры и подушки, медные самовары, а над пламенем дымились медные котелки. В бликах огня сидели, по восточному обыкновению поджав под себя ноги, смуглые люди с плоскими лицами—люди с китайским разрезом глаз и точно отполированными, глянцовитыми скулами, в длинных кафтанах и высоких мохнатых меховых шапках. До нашего слуха долетали гнусавые, ленивые звуки их говора. Один из них стоял во весь рост на свету костра—огонь сверкал на серебряных украшениях его пояса и на выложенном золотом, длинном, изогнутом ятагане, который висел у него на боку.

— Туркмены,—заметил с козел солдат.

Туркмены из азиатских степей, расположенных за Каспийским морем, где кипящий гейзер, затопивший

Европу во время великого нашествия монголов, таинственная колыбель рода человеческого. Предки этих воинов шли с Чингисханом, Тамерланом и Атиллой. Родичи их были султанами в Константинополе и восседали на украшенном драконами троне в Пекине.

Не успели мы хорошенько разглядеть эту маленькую горсточку могущественных орд, бросаемых Россией на Запад, как уже въезжали в развалины австрийской Новоселицы, где проходила прежде граница.

Повсюду зияющие дыры окон, дома без крыш, обугленные и разрушенные стены,—несметная дань войне—домов, уничтоженных огнем. Русские разрушили здесь все еще в начале войны; что сталось с мирными жителями, мы не смели даже подумать. Большой оштукатуренный отель превратился в потрескавшуюся скорлупу. Изнутри светился огонь, у входных дверей чернел силуэт солдата в гимнастерке и высоких сапогах.

Дорога, по которой мы ехали, была белая и ровная. Мимо, как тени, с топотом проезжали всадники, и блуждающий свет отражался на рукоятках казацких шашек без эфеса. Пересмеиваясь и разговаривая с мягким итальянским выговором, серели во мраке белым холстом своей одежды проходившие молдавские крестьяне.

Переехали через мост, на котором стоял часовой, пропустивший нас, как только увидел пятно белой бумаги, и очутились в русской Новоселице. Здесь, напротив, ничто не было разрушено, но вместо утрамбованной дороги мы затряслись по широким грязным лужам и ужасающим выбоинам. С обеих сторон улицы шли глубокие канавы для осушки и стока нечистот, с переброшенными через них деревянными мостиками для пешеходов. Широкие, растянувшиеся деревянные дома

чередуются с маленькими неказистыми еврейскими лавчонками, которые кишат кричащими, визжащими, торгующимися людьми и распространяют удушливое зловоние, знакомое нам по беднейшим кварталам восточной части Нью-Йорка. Старые евреи в длинных пальто, в надвинутых на уши картузах, с взлохмаченными бородами, жестикулируют руками—комический еврей из забавной пантомимы; грязные дети ползают в свете лампы; на ступеньках сидят женщины в капотах и коричневых париках—они няньчат своих детей и сплетничают на крикливом жаргоне.

Мы нырнули в темную, как деготь, боковую улицу; по обеим сторонам ее за заборами выстроился ряд длинных домов.

— Вот мы и приехали,—сказал наш возница.—Теперь вы увидите настоящий русский дом.

В то же мгновение открылась дверь, и на пороге, держа лампу над головой, показался полный бородатый офицер—капитан Владимир Константинович Маджи, комендант Новоселицы. За ним щетинистый, лысый человек с закрученными седыми усами и козлиной бородкой, а из-за его плеча в свою очередь выглядывало улыбающееся лицо с папироской в зубах и под белой шелковой косынкой—лицо, похожее скорее на лицо очень толстого мальчугана.

— Очень рад! Очень рад! Povtim!—сказал капитан по-румынски, жестами приглашая нас войти.

— Pojalist! Пожалуйста!—закричали остальные по-русски.

Начальник полиции предупредил, что привез с собой двух знакомых «американцев», и снова они закричали хором гостеприимных голосов: «Povtim! Пожалуйста!»—

и проталкивались поближе, чтобы лучше разглядеть нас, быстро говоря что-то по-русски.

— Они не говорят ни по-русски, ни по-румынски. Только по-французски...

— Entrez!—произнес капитан с заметным акцентом и добавил на хорошем немецком:—Kommen Sie herein, meine Herren! Входите же, господа!

— Voila! Comment! Comment! Voila!—гудел лысый.

— Это все, что мой брат знает по-французски,—пояснил Маджи, когда мы вошли. Толстое лицо принадлежало, как оказалось, девушке удивительной полноты и ужасающей обильности форм. Неистово пыхтя своей папиросой, она пожала нам обе руки, схватила за отвороты пальто, тряхнула их, крича что-то по-русски, и громко рассмеялась, когда мы ее не поняли.

Капитан сиял гостеприимством.

— Александра Александровна, как насчет самовара?

Она убежала, и мы услышали, как она отдает распоряжения невидимой прислуге:—Антонина Федоровна! Принесите самовар!

Через секунду она снова появилась перед нами—на голове у нее была уже новая желтая косынка, и она нещадно дымила новой папиросой. Маджи указал на нее рукой:

— Mon mari! Мой муж!—сказал он на ломаном французском языке.

Его брат запрыгал, как мышиный жеребчик, и, тоже показав на нее, повторил:—Мой муж!—а затем прибавил в каком-то неистовстве:—Très jolie! Très jolie! Très jolie!

И он снова и снова произносил «très jolie», в восторге от того, что вспомнил еще одно французское выражение.

Что касается толстушки, то нам так и не довелось узнать, чьим же «мужем» она была... Была там еще Александра Антоновна—совсем еще юная девочка, лет тринадцати, тихая, с глазами взрослой женщины, как у всех русских девушек. Ее положение в доме также осталось для нас тайной. Во всяком случае, оно было не маловажным—ведь это была Россия, где на такие вещи не обращают внимания...

В столовой началось бесконечное чаепитие. Папиросные коробки валялись по всему столу. На одном конце сидела Александра Александровна, куря папиросу за папиросой, трясясь от смеха и крича всем и каждому. С другого конца, уставившись на нас, радостно выкрикивал лысый: «Voila! Comment! Très jolie!» Прислуга Антонина шныряла туда и сюда, принимая участие в общем разговоре, вставляла, на правах полного равенства, свои замечания и доливала самовар.

Робинзон сказал седому человеку, что он точь в точь похож на гоголевского казака—героя Тараса Бульбу. Тот был очень польщен, и с тех пор никто не обращался к нему иначе, как «генерал Тарас Бульба».

Время от времени входили новые офицеры—коротко подстриженные люди в затянутых поясами русских гимнастерках, застегнутых на все пуговицы до подбородка. Они целовали Александре руку и обходили вокруг стола, бормоча свои имена. Многие из них говорили немного по-французски и по-немецки. Они были удивительно откровенны в разговорах о военном положении.

— Да, мы отступаем, как черти. Главным образом, потому что у нас не хватает военного снаряжения. Но есть и другие причины. Взятки, дезорганизация...

— Вы не слыхали о полковнике Б?—перебил лейтенант.—Он плохо зарекомендовал себя еще в японскую войну, а когда началась эта, его назначили начальником штаба к генералу Иванову. Это он ускорил начало отступления с Карпат: когда генерал Иванов был в отъезде, он отдал приказ об отступлении целого армейского корпуса и обнажил таким образом фланг соседней армии. Для этого не было никаких оснований. Говорят, что он сумасшедший... Однако, дело замяли и его перевели начальником штаба к генералу Дмитриеву, где он снова проделывал такие же штуки! Вы думаете, он сломал себе на этом шею? Вовсе нет! У него в Петрограде влиятельные друзья, и теперь он начальником штаба у другого генерала.

Кто-то спокойно проговорил:

— Это всегда так. Наступление—отступление. Наступление—отступление. Ну да, мы отступаем сейчас, ну так что же, мы снова будем наступать.

— Но сколько же может продлиться война?

— А что нам за дело, сколько она протянется,—заметил другой капитан с усмешкой.—Мы думаем, пока Англия будет давать деньги, а земля людей.

Около десяти часов Александра неожиданно предложила закусить. Пока Тарас Бульба суетился и давал бестолковые советы, она с Антониной накрывала стол. На «закуску» были поставлены коробки с сардинками, копченые и соленые сельди, скумбрия, икра, сосиски, крутые яйца и пикули—для возбуждения аппетита,—все это было «залито» семью различными сортами ликеров и вин: коньяком, бенедиктином, кюммелем, рэспберри, плюм-брэнди и киевскими и бессарабскими винами. Затем появились огромные блюда мучных «полента»

и куски свинины с картофелем. Нас было двенадцать человек. Компания принялась закусывать с полными стаканами коньяку, беспрестанно следовавшими один за другим, и кончила бесчисленным множеством чашек кофе по-турецки и повторением всех семи различных напитков. В конце концов подали самовар, и мы принялись за бесконечное чаепитие. Была полночь.

— Ах,—воскликнул один из офицеров,—если бы только у нас была сейчас водка!..

— А она на самом деле запрещена в России?

— Кроме первоклассных ресторанов больших городов—Киева, Одессы, Москвы. Там можно достать и заграничные вина. Но они очень дороги... Видите ли, смысл указа был в том, чтобы прекратить употребление алкоголя в низших классах. Богатые же всегда могут достать его...

Молодой человек, по фамилии Аметистов—лейтенант Крымского татарского полка—спросил нас, не слышали ли мы о происшествии с памятником Бисмарку.

— Случилось это во время отступления из Восточной Пруссии, после Танненберга,—начал он, и приятная улыбка озарила его бледное лицо фанатика.—Мой полк стоял в Иоганнесберге; была там бронзовая статуя Бисмарка, вышиной примерно футов двенадцать—таких сотни по всей Германии. Мои татары хотели свалить ее и захватить с собой, как трофей, но генерал категорически запретил им. «Это может повлечь за собой международный инцидент»,—сказал он. Как будто война—еще не достаточный «международный инцидент». Хорошо, так мы просто похитили ее—свалили ее ночью, водрузили в фургон и накрыли сверху брезентом. Но мы не смогли все-таки спрятать огромные бронзовые ноги, и они

высовывались снизу... Довезли мы памятник до Тильзита, но однажды вдоль нашего полка проезжал верхом генерал и заметил их. «Кто взял эту штуку?»—орал он. О, как он разозлился! «Я разыщу к утру виновника, даже если бы мне пришлось отдать под суд весь полк! Бросьте его здесь же, поняли?» Он, конечно, имел основание сердиться, так как мы взяли четырех казенных лошадей для этой громадины, а нам приходилось оставлять массу багажа из-за недостатка транспорта. Итак, в ту же ночь мы вытащили Бисмарка из повозки, поставили его в открытом поле и вволю повеселились вокруг него... Помнится, мы произносили речи и раскупорили перед ним несколько бутылок шампанского. А на следующий день, нате вам, его уже не было—его увез сибирский пехотный полк... Кто знает, где он теперь...— в раздумьи произнес он.—Может быть, отступает из Галиции вместе с сибиряками.

С другого конца стола на нас сверкали узкие глаза капитана атаманских казаков.

— Приходилось ли вам видеть казацкую саблю с рукояткой без эфеса?—спросил он, показывая нам свою.— Это—страшное оружие в их руках. Они рубят наискось—жик! Она разрубает человека пополам. Великолепно! И они любят убивать. Когда им сдаются в плен, они постоянно просят своих офицеров: «Дайте их нам порубить. Стыдно нам возиться с таким бабьем!»

Мы пробовали объяснить цель нашего приезда, но капитан каждый раз перебивал нас с возбужденной улыбкой:

— Вы побываете везде, где захотите, друзья. Завтра мы все это устроим. А теперь ешьте и пейте, ешьте и пейте...

Александра Александровна шутя кричала нам из-за клубов дыма:

— Это невежливо, притти в гости к друзьям и говорить о том, чтобы уйти!

— Très jolie!—мычал Тарас Бульба.—Вы не уйдете отсюда, пока не научите меня говорить по-французски, по-немецки, по-испански, по-итальянски и по-китайски. У меня страсть к языкам...

Был уже час ночи. Мы валились с ног.

— Voyons!—жаловался Маджи.—Спать—самый забавный способ проведения ночи.

ЖИЗНЬ В НОВОСЕЛИЦЕ

О ночлеге для нас уже позаботились. Мы отправились в коляске, с кучером-солдатом. Во всем городе нигде не было видно огней, за исключением нескольких домов, занятых офицерами. Мы остановились перед каменным домом, зажатым между теснейшими еврейскими лавками, и с осторожностью перебрались через лужу, вонявшую нечистотами. Солдат постучал в дверь. Сквозь щели показался свет, и послышались испуганные женские причитания.

Он обругал ее жидовкой.

— Иностранцы!—крикнул он.

Загремели цепи и засовы, и нас обдало волной зловония. В дверях раболепно кланялась сгорбленная женщина с острыми чертами лица и в съехавшем набок коричневом парике. Ее десны изображали притворно вежливую улыбку. Хрипло болтая по-еврейски, она провела нас наверх по лестнице, которую не убирали с прошлой пасхи. «Кто такие благородные Herren? Что они тут делают? Откуда они прибыли? Америка!» Она внезапно остановилась и с изумлением уставилась на нас.

— Wun-der-bar! У меня есть друзья в Америке, например, Иосиф Герцовичи. Вы его знаете? Хотя нет, конечно, нет. Ведь это большая страна, больше, чем эта... Как жизнь в Америке? Много денег? И эти высокие

дома в Нью-Йорке. Пятьдесят этажей? Grosser himmel! Но почему же вы бросили Америку и приехали в Россию?

— Почему, спрашиваете вы,—сказал я.—А разве здесь жить нехорошо?

Она окинула меня подозрительным взглядом и снова начала причитать:

— Здесь мало денег, благородный господин, и беднякам очень тяжело... Но, конечно, конечно, здесь не плохо...

Она открыла дверь, сперва осторожно потрогав сложенную бумажку с молитвой, прикрепленную у косяка, и, идя на цыпочках, пригласила нас войти. В углу, за столом, читая при свечах тору, сидел старый еврей в ермолке, в черной одежде и ночных туфлях. Его тусклые глаза глядели вниз через роговые очки, и седая борода двигалась в такт глухому бормотанию священных слов. Он повернулся, не глядя на нас, в полоборота и отвесил полный достоинства поклон...

Наша комната находилась дальше. В ней были приготовлены две постели, по форме и жесткости напоминавшие мраморные плиты в морге. Простыни, правда, на них были чистые, но уж очень сильно пахло там фаршированной рыбой.

В нашей комнате оказался балкон, выходивший на широкую площадь, всю в отбросах, со втоптанной в грязь соломой; крестьяне оставляли там свои телеги, когда приезжали в город. Ее окружали глубокие канавы с медленно текущей зловонной жижей, а повсюду вокруг были разбросаны жалкие лачуги, населенные евреями. Весь день площадь пестрела двигающейся толпой— иногда живописной, порой несвязной и мрачной. Были

там сдержанные, мягкие молдаванские крестьяне, все в белом домотканном холсте, в широкополых, низко надвинутых шляпах, с длинными кудрями ниспадавших на плечи волос; размашисто шагали их жены, увенчанные под платками круглыми супружескими шапочками,— крупные существа с крепкими, оголенными до колен ногами; русские мужики в рубашках навыпуск и картузах тяжело переваливались, топоча своими увесистыми сапогами,—гиганты-бородачи с простыми печальными лицами и здоровые, плосколицые женщины в ужасном сочетании цветных платков и кофточек—на одной желтое с сиреневым, на другой—цвета киновари с светло-зеленым и бледно-голубым. Здесь и там виднелись завидущие, расчетливые лица русских попов с длинными волосами и громадными распятиями, колыхавшимися на их рясах; донские казаки без определенной военной формы, за исключением широких красных лампасов на штанах, выложенной серебром сабли с рукояткой без эфеса и вихрастого локона над левым глазом; рябые татары, потомки Золотой Орды, той самой, что штурмовала «святую Москву», с узким красным кантом,—одни из самых стойких солдат русской армии; туркмены в чудовищных белых и черных папахах, в бледно-фиолетовых и синих кафтанах, с блестящими золотыми цепочками, набором на поясах, с кинжалами и ятаганами и в сапогах с загнутыми кверху узкими носками. И, наконец, евреи, евреи, евреи—согбенные, тощие, в ржавых картузах и замусоленных длинных лапсердаках, с жидкими бородами, с хитрыми и запуганными взглядами—они боязливо отворачивались от полиции, солдат и попов и огрызались на крестьян; они стали как затравленные звери, благодаря вымогательствам и жестокому

обращению, благодаря безжалостной конкуренции в зловонных, переполненных городах черты оседлости. Возбужденные, крикливые еврейки в грязных капотах и распотрошенных париках; почтенные раввины и великие талмудисты, сгорбившиеся под тяжестью добродетельных лет, с книгами в кожаных переплетах под мышкой; глубокомысленные мальчишки, повторяющие уроки по дороге в хедер,—народ, с рождения отравленный своим узким учением—не он ли был «гоним за истину» и убиваем на улицах людьми, чьим знаменем был крест! Евреями был насыщен весь город, сам воздух пах евреями...

Над заплатанными железными крышами возвышался зеленый купол русской церкви. Под нашим балконом, прямо в грязи, бормоча молитвы и быстро крестясь, стоял на коленях слепой деревенский мальчик. С соседней улицы доносились шум и крики—ярмарка была в разгаре. Городовые в желтых рубахах и сапогах со шпорами теребили свисавшие с шеи красные шнуры своих больших револьверов и настороженно прохаживались в стороне среди галдящих евреев и толкающихся крестьян. Таков уж неизменный путь городовых всех стран—среди бедняков. И, незаметно для привыкшего слуха, зловонный воздух беспрестанно сотрясался залпами орудий, находившихся всего в десяти милях отсюда.

Из дома Маджи, зевая и протирая глаза, один за другим повыползало все семейство. Было уже позже десяти часов. У входа Антонина колола лучины и уголь. Она побросала их в самовар, хорошенько разожгла, набросала сверху свежих листьев, и мы снова принялись за

бесконечное чаепитие, которое продолжается у русских и днем и ночью.

Мы осторожно намекнули капитану о нашем намерении.

— Разумеется, вы можете отправиться на фронт,— сказал он.—Но здесь вам будет неинтересно, разве только если вы хотите посмотреть артиллерийскую дуэль. Сейчас на нашем участке затишье. К северу гораздо жарче, почему бы вам не проехать на север?

Мы ухватились за это предложение.

— Куда же вы хотите ехать?

Надо сказать, что американский посол в Бухаресте уполномочил нас осведомиться о судьбе некоторых американских граждан, находившихся в занятых русскими войсками частях Буковины и Галиции. Я заглянул в список. Никто толком не знал, где проходит фронт, но, подсчитав, сколько миль в день отступала русская армия, и справившись с картой, вы выбрали Зелещик, как город, в котором было несколько американских подданных, и как место, которое, вероятно, должно было оказаться в зоне военных действий.

Маджи повел нас в штаб командующего, чтобы переговорить с генералом. Тот охотно дал нам разрешение, и комендант написал нам пропуск в Зелещик. Больше того, он вызвал еврея, которому «принадлежал» один крестьянин,—его лошадь, повозка, тело и душа,—и сторговался с ним о нашем проезде. Цена была назначена в двадцать пять рублей, с уплатой вперед, из которых крестьянину едва досталось два. Мы собрались выехать в шесть часов утра.

Полковник Дошдовский, однорукий русский командир стоявших здесь туркменов, награжденный георгиевским

крестом и орденом Владимира, был редкий смельчак, а его злобная туркменская сабля была испещрена выложенными золотом персидскими стихами. Мы осмотрели с ним туркменский лагерь. Все жили в поле, под открытыми навесами; лошади их были привязаны там же, порознь одна от другой, так как все это были дикие жеребцы. Никогда не видал я таких великолепных лошадей—гибкие, сильные, с четкими мускулами, изогнутой шеей и небольшой головой лошадей хорошей породы. Всадники возились около них—обтесывали и подрезали копыта, расчесывали гривы, тщательно прохаживались щипцами по их глянцовым бокам, ощипывая волосы, которые были длиннее или короче остальных, и покрывали их попонами.

— Они сами убирают своих лошадей,—сказал полковник,—и их лошади—их гордость. От лошадей часто зависит судьба всадника. Если конь убит во время небольшой стычки разведчиков, то бедный парень погибает. Туркмены подлежат военной службе всю свою жизнь.

Многие поснимали свои кафтаны и остались в одних тонких черных казакинах, спадавших на красные шаровары и туго перетянутых в талии. Другие сняли громадные меховые шапки—под ними были темные головы, начисто выбритые, кроме небольшого кружка на макушке, покрытого маленькой шелковой тюбетейкой. Повсюду лежали высокие седла с серебряными украшениями, узлы пестрых тканей из Хивы, Бухары и Самарканда, ковры, заменявшие постель, и молитвенные коврики, способ выделки и окраски которых остался тайной предков.

На них были широкие кушаки из блестящего шелка, прямые и изогнутые кинжалы, выложенные драгоценными металлами, и сабли в богато разукрашенных ножнах, видавших, быть может, Тамерлана. Со спины их свешивались крученые серебряные шнуры.

Без всякого любопытства, с равнодушным превосходством покорителей мира повертывали они к нам свои раскосые монгольские глаза и с улыбкой обменивались язвительными замечаниями на наш счет. Но Робинзон достал свой альбом, набросал их портреты и роздал им— тогда они, как нетерпеливые дети, столпились вокруг нас, чтобы позировать ему.

Весь день у Маджи лился чай, еда появлялась точно по велению слепой судьбы, и без конца слонялись разные люди. Александра Александровна шумела, смеялась и курила без перерыва, двадцать раз меняя свои косынки. Тарас Бульба настаивал на изучении французского, испанского и немецкого—всех зараз—и бушевал неистово и бестолково. Сам капитан был занят, у него было много неотложных дел, и его постоянно отвлекали. Входили штабные офицеры со связками бумаг, толпились в его кабинете, громко разговаривая все сразу. Заметно было отсутствие какого бы то ни было метода. Все они шатались из комнаты в комнату, пили чай и болтали о разных пустяках. Маджи решительно хватал перо и бумагу, как будто собирался работать, но потом забывал все на свете и направлялся в столовую, чтобы послушать какую-нибудь смешную историю, которую только что начали рассказывать. Новая толпа офицеров явилась к обеду, столь же неожиданному, как и в прошлый вечер, только получасом позже, но мы

вырвались из этих гостеприимных объятий, так как нам надо было рано вставать.

Александра, капитан и старый Тарас Бульба проводили нас до дверей. Маджи сиял и желал нам всякой удачи, Александра с преувеличенным чувством жала нам руки и умоляла вернуться «обязательно». А что касается Тараса Бульбы, то он снова бился в трудных поисках правильной французской фразы. Как только мы уселись в повозку, он нашел ее. Лицо его просветлело, он принял риторическую позу, напыщенно простер одну руку и грозно произнес:

— Je vous aime, je vous adore!

МЫ ПОПАДАЕМ В БУКОВИНУ

На следующий день ранним утром мы услыхали, как кто-то на крикливом жаргоне поминал бога и чорта. Выйдя на шум, мы увидели улыбающегося и потирающего руки еврея.

— Где повозка?—спросил я, опасаясь возможных вымогательств.

— Здесь,—указал еврей.

Перед нами стояло нечто похожее на временный помост, употребляемый при рытье артезианских колодцев; на нем сидел до-нельзя унылый мужик. При ближайшем осмотре мы обнаружили присутствие колес, прикрепленных в разных местах кусками железа и веревками, а также двух старых, разочарованных, опиравшихся друг на друга лошадей—вне всякой связи с этим сооружением.

— Т-р-р-р-р-р-р,—обратился мужик к животным, думая, как видно, что без этого окрика лошади разбежались бы.—Т-р-р-р-р.

Пока мы взбирались на повозку, еврей ожесточенно втолковывал вознице, что нас надо отвезти в Залещики через Боян и Застевну, и что с нас нужно выжать все, что возможно... В конце этой тирады крестьянин приподнялся и, хрипло крича, стал нахлестывать лошадей длинной веревкой, привязанной к палке.

— Эй!

Лошади проснулись, вздохнули, по привычке тронули и... согласно какому-то чуду механики, колеса повернулись, судорога пробежала вдоль киля—мы двинулись в путь!

С грохотом въехали мы через мост в австрийскую Новоселицу, выехали из нее по укатанной дороге, что шла в гору, медленно поднялись и обогнали длинный обоз груженных военным снаряжением и запряженных волами телег; правили ими солдаты.

Мы находились уже в Буковине. Налево, до росших вдоль Прута деревьев, ровно стлались низкие зеленые поля молодых хлебов. За ними возвышались плодородные холмы Румынии. Направо, до обработанной волнистой степи, лежала обширная долина. Июньское солнце обдавало уже безветренным, душным жаром. Возчик все ниже и ниже склонялся к своим коленям, лошади убавляли шаг в арифметической прогрессии, и мы ползли в обжигающем покрове пыли, спрятанные словно Зевс в облаках.

— Эй,—толкнули мы его в спину,—поторапливайся!

Он повернул к нам свое грязное, коротконосое лицо. Глаза его выглядывали из-за спутанных волос, а рот медленно раздвинулся в отвратительную фамильярную гримасу—понятливости на его лице было не больше, чем на каравае хлеба. Мы тотчас прозвали его Иваном Ужасным...

— Но,—закричал он с притворным ожесточением, размахивая вожжой.

Лошади сделали вид, что это произвело на них впечатление, и затрусили быстрее.

Но спустя десять минут Иван снова погрузился в созерцание бесконечности, лошади почти застыли, и мы двигались в белой пыли...

Медленно тащились мы, слыша медлительный гул канонады, раскатисто повторявшийся громким эхом и доносившийся до Новоселицы. А поднявшись на крутой холм, увенчанный разбросанной деревней с крытыми соломой домами, мы оказались на виду и батарей. Они находились на ближайшем откосе громадной волнистой возвышенности, не мало впитавшей в себя горячей крови. С промежутками в полминуты тяжело плевало орудие, но ни дыма, ни пламени видно не было—только посуетятся немного фигурки, застынут и снова оживают. Свист и жужжание снаряда, а затем на лесистых холмах по ту сторону реки лопается и быстро рассеивается дымок. Там виднелись сверкавшие на солнце колокольни белевших Черновиц. Деревня, через которую мы проезжали, была полна рослыми загорелыми солдатами, поглядывавшими на нас угрюмо и подозрительно. Над воротами висел флаг Красного Креста, и вдоль дороги струился редкий поток раненых—некоторые опирались на своих товарищей, у других забинтована голова, или рука на перевязи. Тряслись крестьянские телеги с слабо стонавшей грудой рук и ног...

Дорога шла вниз, пока мы не подъехали вплотную к стрелявшим батареям. Часами тащились мы позади прерывистого, но гигантского артиллерийского сражения. Орудие за орудием, все в наскоро вырытых ямах, прикрытых хворостом, чтобы скрыть их от аэропланов. Вспотевшие люди гнулись под тяжестью снарядов, передвигая блестящие зарядные ящики. Методично защелкивался на свое место затвор, тотчас указатель

отзванивал очередь, запальщик дергал шнур—орудие изрыгало удушливый дым, подавалось назад, визжал снаряд, и так мили и мили громадных, щедро паливших орудий.

На самом поле артиллерийского сражения мирно пахали на волах крестьяне, а перед ревущими орудиями мальчик в белой холщевой рубахе гнал по холму скот к пастбищу у реки. Мы встречали безмятежно ехавших в город длинноволосых хуторян с оранжевыми маками на шляпах. На восток равнина переходила в отлогий холм, по которому стлались поля молодой пшеницы, колыхавшейся под ветром длинными волнами. Его гребень был порван и изранен громадными рытвинами; множество крошечных человечков копошилось в новых траншеях и у проволочных заграждений. Это была вторая линия позиций, приготовленных к ожидавшемуся отступлению....

Мы повернули к северу, в сторону от артиллерии, по плешивому склону обширной возвышенности. Здесь земля громоздилась пышными узорчатыми волнами зеленых, коричневых и желтых узких полей, трепетавших под дуновением ветра. Через долины, края которых поднимались подобно распростертым крыльям падающих птиц, виднелись смягченные расстоянием очертания изборожденных откосов и зарослей. Далеко на западе, вдоль горизонта, возвышалась бледно-синяя волнистая линия Карпат. В необъятных просторах раскинулись утопавшие в зелени деревни—с глиняными хатами, неровно и ловко слепленными от руки, выбеленными, с яркой синей полосой по низу, и тщательно покрытыми соломой. Многие из них были покинуты, разорены и почернели от огня, особенно те, в которых

жили евреи,—выломанные двери, сорванные оконные рамы и разбросанные повсюду обломки скудной домашней утвари. С тех пор, как началась война, австрийцы еще не приходили сюда. Это была русская работа...

Когда мы проезжали мимо, крестьяне снимали шапки, улыбаясь мягко и дружелюбно. Худой мужчина с тщедушным ребенком на руках бежал за нами и поцеловал мне руку, когда я дал ему кусок шоколада. Вдоль дороги встречались замшелые каменные кресты, исписанные древне-славянскими буквами; крестьяне снимали перед ними шапки и набожно крестились. Попадались там и грубые деревянные кресты, как в Мексике, отмечавшие места, где были убиты люди...

На высоко расположенном лугу, с которого открывался вид на протекавшую в отдалении реку и на развертывавшиеся вдали равнины Буковины, мы проехали лагерь туркменов. Горели костры; оседланные лошади щипали траву. Туркмены с жестокими лицами и раскосыми глазами сидели на корточках вокруг походных котлов или прохаживались между лошадей—варварское пятно на этом зеленом северном поле, где, быть может, тысячу лет назад их предки сражались вместе с Атиллой. За рекой, во вражеских траншеях, лежали их родичи—за туманными горами, к западу, находилась Венгрия, богатая страна, где осел, наконец, пришедший из Азии «бич господень». В том месте, где дорога снова спускалась в равнину, стояла старая круглая каменная часовня, окруженная изящными колоннами. Она была теперь пуста, и внутри устроили конюшню для лошадей туркменских офицеров.

На каждом перекрестке мы безошибочно узнавали нужную нам дорогу, потому что Иван неизменно

выбирал другую. Хотя родился и вырос он в Новоселице, всего в пятнадцати милях отсюда, но никогда ему не приходилось путешествовать так далеко за границу. Больше того, он никак не мог удержать в своей дырявой памяти название нашего местоназначения, сколько бы он ни повторял его. Он постоянно оборачивался и вздыхал, уставясь на нас. «Залещики!»—кричали мы хором, и он принимался погонять лошадей какими-то странными криками. Он останавливался иногда, пока мы, наконец, не показали ему на местного жителя и не объяснили знаками, чтобы он спросил у того дорогу.

— Здравствуй,—пробормотал Иван.—Как дорога на...

— Куда дорога, дружище?—спросил прохожий.

Иван почесал в затылке.

— Да вы куда едете?

Иван застенчиво скривился.

— Залещики!—заорали мы, и Иван повторил:

— Ах, да, Залещики.

В полдень мы зигзагами взобрались на крутую гору, в сосновую рощу, и встретили длинный обоз телег, направлявшихся вниз, с стальными частями понтонных мостов. Его сопровождали рослые донские казаки на жилистых лошадях. Их хохлы беспутно торчали из-под фуражек.

— Эй, барин!—крикнул один из возчиков, показывая на юг.—Это Прут?

Я кивнул.

— Два дня!—продолжал он, ударив по своей поклаже.—Два дня мы ездим через реку... Черновицы!..

Они все еще тянулись мимо нас, дребезжа по всему верху горы. Мы быстро спускались через рощу, встречая

громадные дроги, что взбирались на гору под крики и щелканье кнутов. Круче и круче. Деревья поредели, внезапно пропали совсем, и перед нами открылась потрясающая панорама Днестра—прямоугольники, параллелограммы и изгибы разнообразных окрасок сталкивались и переплетались между собой в величественном узоре плодородных полей; большие круглые складки земли вздымались подобно грандиозному морскому прибою; разбросанные белые хутора, похожие на корабли, плывущие вдоль ленточек дорог, и деревни, затерянные в пространстве. Понтонные дроги, запряженные по восьми лошадей, взбирались в гору; каждые из них с оглушительным криком подталкивали еще двадцать солдат; вниз от холма дорога была забита громоздящимися и колыхающимися из стороны в сторону огромными плотами; напрягшиеся и взмыленные лошади и широкоплечие люди надрывались из последних сил...

Мы въезжали теперь в новую страну. Хотя крестьяне попрежнему были одеты в белый холст, головные уборы их изменились. На одних были высокие круглые барашковые шапки, на других—высокие шляпы, какие носят валлийские женщины. Славянские кресты сменились католическим распятием с изображениями всех орудий «страстей господних»—копья, губки, гвоздей и молотка. Мы встречали людей, уже не говоривших по-румынски—румынский язык начал сменяться польским. По дороге попадались хутора, в которых жили целые патриархальные семейства—необъятные дома, включавшие в себя и жилые помещения, и конюшни, и амбары, все под одной крышей, с коридором, проходившим внутри постройки во дворе.

Это была разоренная страна, сожженная боями и тремя походами двух больших армий. Вытоптанные хлеба болезненно желтели на полях. Целые деревни зияли пустотой развалин. Там находились только русские солдаты, и очень редко попадались здоровые мужчины,—встречались лишь одни старики и калеки да женщины и дети. В полях, среди желтевших хлебов, возвышались старые окопы, и повсюду тянулись заржавленные колючие проволочные заграждения. Налево от дороги, с бешеной спешкой, на целые мили воздвигались новые гигантские траншеи и артиллерийские позиции. Тысячи солдат кишели в земле, и полуденное солнце играло лучами на их лопатах. Нагруженные инструментами и колючей проволокой повозки запрудили дорогу. Около Застевны мы видели, как крестьянки и дети рыли окопы под надзором унтер-офицеров, и длинная шеренга их выносила грязь в корзинках на голове. К чему эта лихорадочная поспешность здесь, в двадцати милях от позиций, занятых русскими всего месяц тому назад?

ЗАЛЕЩИКИ—ГОРОД УЖАСА

За Застевной мы увидели пленных австрийцев, остановившихся у каких-то разрушенных домов, чтобы напиться воды. Было их человек тридцать. Шли они, хромая, вдоль по дороге, палимые жаркими лучами солнца, под конвоем двух донских казаков верхом. Их серые шинели побелели от пыли, небритые лица подернулись усталостью. У одного из них была забинтована левая часть лица, и кровь просачивалась через повязку, у другого перевязана кисть руки, а некоторые прыгали на самодельных костылях. По знаку спешившихся казаков, они, шатаясь, заковыляли в сторону от дороги и угрюмо бросились в тень. Два загорелых пленных рычали друг на друга, как звери. Раненый с забинтованной головой стонал, а тот, у которого была перевязана рука, начал с дрожью сбрасывать повязку. Казаки добродушно кивнули нам, разрешая поговорить с ними, и мы подошли с полными пригоршнями папирос. Они набросились на них с жадностью завзятых курильщиков, давно уже лишенных табаку— все, кроме одного юноши с надменным лицом, который достал изящный портсигар, битком набитый папиросами с золотыми ободками, холодно отказался от наших и вынул одну из своих, не предлагая больше никому.

— Это граф,—благоговейно пояснил нам парень с простым крестьянским лицом.

Человек с раненной рукой, разбинтовал наконец свою повязку и осмотрел кровоточащую ладонь.

— Пожалуй, лучше ее опять забинтовать,—произнес он в конце концов, робко поглядывая на полного, сердитого вида субъекта с перевязью Красного Креста на руке. Тот оглянулся с ленивым пренебрежением и пожал плечами.

— У нас есть бинты,—сказал я и уже начал было доставать, но к нам подошел один из казаков и, нахмурившись, покачал отрицательно головой. Он с отвращением посмотрел на пленного с повязкой Красного Креста и показал ему на раненого. Бормоча что-то себе под нос, толстяк начал с озлоблением рыться в своей сумке, выбросил из нее бинт и тяжело отошел в сторону.

Их было тридцать, и между этими тридцатью было представлено пять наций: чехи, кроаты, мадьяры, поляки и австрийцы. Один кроат, два мадьяра и три чеха не знали ни слова на каком-либо языке, кроме своего родного, и, конечно, ни один австриец не знал ни звука по-богемски, кроатски, венгерски или по-польски. Между австрийцами были тирольцы, венцы и полу-итальянцы из Пола. Кроаты ненавидели мадьяр, мадьяры ненавидели австрийцев, а что касается чехов, то никто из остальных не стал бы с ними разговаривать. Кроме того, все они резко отличались друг от друга по социальному положению, при чем каждый стоявший на высшей ступени с презрением смотрел на низшего...

Как образчик армии Франца-Иосифа, группа эта была весьма показательна.

Они были захвачены во время ночной атаки у Прута и прошли за два дня больше двадцати миль. Но все они отзывались очень хорошо о своих конвоирах—казаках.

— Они очень внимательны и добры,—сказал один из пленных.—Когда мы остановились на ночь, казаки сами обходили нас и смотрели, чтобы всем было удобно. И они позволяют нам часто отдыхать.

— Казаки—славные солдаты,—промолвил другой.—Мне приходилось драться с ними, они очень храбры. Хотел бы я, чтобы у нас была такая кавалерия!

Молодой волонтер из Польского легиона спросил меня с нетерпением, выступит ли Румыния. Мы ответили, что похоже на то. Вдруг он задрожал и разразился целым потоком слов:

— Боже мой, боже мой! Что же делать? Сколько же может продолжаться эта ужасная война? Мы хотим только мира, покоя и отдыха. Мы побеждены, мы почетно побеждены. Англия, Франция, Россия, Италия—весь мир против нас. Мы можем с честью сложить оружие. Зачем только началась эта нелепая бойня?

Остальные сидели, угрюмо слушая его и не проронив ни слова...

Под вечер мы с бренчаньем скатились в глубокий овраг, проходивший между высокими обрывами. Рядом с дорогой шумел поток, вертевший сотню мельничных колес. Сами же мельницы лежали разбитые артиллерийским огнем, а те, которые чудом уцелели, торчали опираясь друг на друга вдоль оврага, на восточном склоне, где мы разглядели разрытые траншеи и ужасные корчи спутанной колючей проволоки—русские

войска бомбардировали и атаковали здесь австрийские укрепления месяц тому назад. Сотни людей работали наверху, убирая обломки и возводя новые сооружения. Мы неожиданно свернули в сторону и выехали к отмели Днестра, чуть пониже того места, где высокий железнодорожный мост погружал в воду гирлянду развороченных динамитом брусьев и канатов. Река широко огибала здесь обрыв в сто футов вышины. За потонным мостом, заставленным артиллерией, утопал в зелени некогда прекрасный городок Залещики. Когда мы проезжали по мосту, голые казаки, шумя и брызгаясь, купали в реке своих лошадей. Их сильные белые тела сверкали золотистым загаром.

Три раза две армии брали Залещики с бою, жгли и грабили его, бомбардировали по пятнадцати дней подряд. Большая часть населения бежала из города, так как оказывала помощь и предоставляла удобства неприятелю. Уже смеркалось, когда мы въехали на базарную площадь, окруженную отвратительными развалинами высоких домов. Под жалкими навесами шла вялая торговля,—крестьянки с подавленным видом разложили там свои скудные запасы овощей и буханки хлеба перед шумным сборищем солдат. Несколько евреев прятались за углами. Иван спросил о гостинице, но прохожий с усмешкой показал на высокую рассыпавшуюся кирпичную стену с иронически звучавшей надписью «Гранд Отель»—все, что осталось от гостиницы. Где можно достать чего-нибудь поесть?

— Чего-нибудь поесть? В этом городе не хватит пищи, чтобы накормить мою жену и детей.

Ужас навис над этим городом. Мы чувствовали его в воздухе, в притаившихся фигурах евреев,

притаившихся украдкой вдоль шатких стен, в крестьянах, когда они, снимая шапки, уступали дорогу нашей повозке, в лицах детей, пугавшихся, когда мимо них проходили солдаты. Уже темнело, а мы все еще сидели в таратайке, обсуждая свое положение.

На углу виднелась аптека, сравнительно неповрежденная; внутри горел свет. Я разыскал аптекаря—еврея, говорившего по-немецки.

— Кто вы?—спросил он, подозрительно уставившись на меня.

— Американец.

— Здесь нет отеля,—неожиданно разразился он,—нет места, где бы можно было остановиться, здесь нечего есть. С месяц назад пришли сюда русские, устроили еврейский погром, погнали женщин и детей туда,—он указал на запад.—Здесь нет места...

— В таком случае,—прервал я его,—о нас должен позаботиться военный комендант. Где мне его найти?

— Я пошлю с вами моего помощника,—ответил он с перекосившимся от страха лицом.—Но ведь вы им не скажете, что я вам рассказывал, благородный господин? Вы не скажете...

Его перебил приход двух русских солдат. Он поднялся и, чтобы снискать их милость, нагло обратился ко мне.

— Я не могу выгнать вас из магазина. Это публичное место. Но помните, я не беру на себя никакой ответственности за вас. Я не звал вас к себе. Я вас вовсе не знаю.

Ибо в конце концов мы ведь могли оказаться подозрительными людьми.

Мы дали Ивану на чай два рубля. Он попробовал их на зуб и с хриплыми звуками, означавшими благодарность, засунул в карман. Когда мы уходили, он сидел на повозке посреди площади, уставившись в одну точку. Когда мы вышли из аптеки, он все еще сидел, сгорбившись, в том же положении и на том же месте. И даже час спустя, когда мы шли от штабного полковника, он все еще не двинулся, хотя было уже совсем темно. Какие туманные мысли проносились в его голове? Может быть, он старался вспомнить название своей родины, Новоселица, а может быть, ломал себе голову над тем, как попасть туда обратно...

Мы долго сидели за общим штабным обедом у жизнерадостного полковника, болтая о политических новостях. Офицеры говорили на немецком языке, с трудом подбирая выражения. Среди них был молодой лейтенант-финн и старый казачий хорунжий с морщинистым монгольским лицом, похожий на Ли-Хунг-Чанга, которые глубоко возмущались потоплением «Лузитании» и выражали уверенность, что Америка вмешается в войну.

— Чем я могу быть вам полезен?—спросил нас полковник.

Мы сказали, что хотели бы побывать на этом участке фронта, если на нем идут сейчас бои.

— К сожалению, здесь это невозможно устроить,— промолвил он.—Но если вы поедете в Тарнополь, главное командование наверняка даст вам разрешение. Тогда вы вернетесь сюда, и я рад буду составить вам компанию. Поезд в Тарнополь отходит в одиннадцать вечера.

Может ли он сообщить нам, каково сейчас положение на фронте?

— С удовольствием,—охотно согласился он и велел принести карты. Он разложил их на столе.

— Вот смотрите, около Задороги у нас расположено десять тяжелых орудий. Вот здесь. Чтобы остановить австрийскую фланговую колонну, которая переправляется через Прут. А здесь, около Калиша, австрийцы думают, что у нас нет ничего, кроме кавалерии, но в три дня мы перебросим туда три полка через эту маленькую речку, вот в этом пункте.

Я заметил, что все эти карты, кажется, немецкого и австрийского происхождения.

— О да,—ответил он.—В начале войны у нас совсем не было карт Буковины и Галиции. Мы даже совсем не знали этих мест, пока не захватили их...

ВДОЛЬ РУССКОГО ФРОНТА

Утром, одеревянелые и сведенные судорогой, встали мы со скамеек вагона третьего класса и выглянули через окно на беспредельную галицийскую степь, золотящуюся хлебами и изрезанную глубокой бархатистой пашней. Десятимильная плоская равнина мягко поднималась к горизонту, по линии которого, словно плывущие в море корабли, белели гигантские ветряные мельницы. За девять часов мы проехали тридцать миль.

Паровоз победоносно свистел на долгих спусках и порывисто дышал на подъемах,—тогда на многие мили видно было подымающееся полотно. Наш вагон был полон весело болтавшими офицерами—как всегда бывает у русских, когда они соберутся вместе. А из прицепленных сзади десяти товарных вагонов, полных солдатами, доносились гнусавые звуки музыки, невнятный гул высоких поющих голосов, крики и взрывы смеха. На маленьких станциях, где плосколицые, сумрачно одетые крестьяне и их широкобедрые, в ярких платках, жены тупо глазели на поезд, сотни солдат и офицеров, не разбирая друг друга, толкались с чайниками вокруг огромного бака с кипящей водой, какой можно найти на любой русской железнодорожной станции—и начиналось бесконечное чаепитие.

В соседнем отделении сидел за маленьким медным самоваром офицер в высоком чине, увешанный

орденами. На ремне через плечо у него висела казачья сабля с золотой рукояткой и георгиевским темляком. Денщик, быть может, «мужик» из его поместий, звал его по-домашнему «Иван Иванович». Вскоре он зашел к нам и с чисто русским гостеприимством пригласил нас на французском языке выпить с ним стакан чаю. Разговор зашел о войне.

— Что бы то ни было, а Россию победить невозможно,—сказал он.

Я напомнил ему, что Россия неоднократно бывала бита.

— Вы имеете в виду японскую войну. Я сам служил тогда в Маньчжурии и думаю, что смогу рассказать вам, почему нас тогда побили. Прежде всего, крестьяне ничего не знали о причинах войны, и никто не позаботился объяснить им их. Они никогда не слыхали о японцах. «Мы не злы на японцев, кто бы они ни были,— говорили мужики.—Чего ради нам воевать с ними?» А потом повсюду была страшная бестолковщина. Я видел войска, изнуренные и изголодавшиеся после сорокадневного железнодорожного пути, во время которого им не давали как следует поесть. И как только они разгрузились, их сейчас же бросили в бой, не дав ни минуты отдыха. Кроме того, тогда была водка, которая не мешает нам теперь. Перед сражением под Мукденом я видел целый полк, валявшийся в пьяном сне на земле... Это была непопулярная война—крестьяне были настроены совсем не патриотично.

— А как теперь, насчет патриотизма?

— О, теперь они очень патриотичны, они ненавидят немцев. Видите ли, почти все сельско-хозяйственные машины идут из Германии. Машины эти делают работу

многих людей и гонят крестьян на заводы Петрограда, Москвы, Риги и Одессы. Затем немцы наводняют Россию дешевыми товарами, которые не дают ходу русской продукции, а следовательно, закрываются наши фабрики, и тысячи рабочих выбрасываются на улицу. В Прибалтике, например, немецкие помещики владеют всей землей, и крестьяне живут в нищете... Если же в России народ и не настроен против немцев, то мы объясняем... О да, теперь-то русские знают, за что они воюют!

— Так что крестьяне думают, что, побив немцев, они освободятся от бедности и угнетения?

Он удовлетворенно кивнул головой. У меня и у Робинзона пронеслась одна и та же мысль: уже если крестьяне собираются кого-нибудь побить, то почему они не начинают у себя дома? Вскоре мы узнали, что они действительно начали у себя дома.

Поздно утром мы остановились рядом с длиннейшим санитарным поездом, на котором был императорский герб и надпись: «Санитарный поезд, подарок императрицы Александры Федоровны». Уже виднелись башни Тарнополя.

— Пойдемте,—сказал наш спутник, распорядившись, чтобы выносили его вещи.—Нам лучше пересесть на другой поезд, а то наш может простоять тут до вечера.

Мы вскочили в санитарный поезд как раз в тот момент, когда он отходил, и очутились в маленьком вагоне, разделенном широкой, грубой перегородкой. По бокам протянулись деревянные скамьи, в одном углу стояла печка, заставленная грязными котелками и кастрюлями; сундуки, жестяной умывальник на ящике,

прикрепленном к стене, одежда, развешанная на гвоздях—все это напоминало кубрик на судне.

В одном отделении сидело два средних лет офицера, небольших по чину, а в другом—полная, приятная женщина и молодая девушка. Оба мужчины и женщина курили папиросы и бросали окурки на грязный пол. На столах в беспорядке стояли дымящиеся стаканы чая. Окна были закрыты.

Девушка говорила по-немецки и немного по-французски. Женщина была ее матерью, офицер с проседью, служивший в санитарном поезде, ее отец, а второй—капитан инженерных войск—ее дядя. С тех пор как началась война, в течение десяти месяцев, они живут в этом вагоне, курсируя из Вильно и Киева на фронт и возвращаясь обратно с ранеными.

— Моя мать не хотела отпустить отца на войну без себя и подняла такой шум, что он взял нас обеих... Тесть моего дяди—коллежский асессор и судья в Минской губернии, так что он помог нам достать этот вагон.

— Вы видели бои?

— Дважды,—ответила она.—Под Варшавой, этой зимой, немецкий снаряд попал в один из наших вагонов и разнес его в щепки—мы тогда весь день были под артиллерийским обстрелом. А на прошлой неделе, под Калушем, весь поезд попал в плен к австрийцам. Но они отпустили нас... Теперь мы направляемся в Вильно с ранеными. Через два дня мы опять будем там...

Снова, с обычным русским гостеприимством, появились чай и папиросы. Мы расположились и стали слушать рассказы об удовольствиях беспрестанных поездок

по всему свету, наподобие их предков, кочующих русских племен.

Вокзал в Тарнополе находился в страшном беспорядке. Из длинного воинского эшелона, бросаясь за кипятком, бежали с чайниками солдаты, расстраивая ряды направлявшейся к другому поезду пехотной колонны. Офицеры кричали и ругались, колотя их ножнами своих шашек. Истерически свистели паровозы, трубил горнист, созывая людей по своим вагонам. Одни останавливались в нерешительности, не зная, итти ли дальше или возвращаться, другие пускались побыстрее. Вокруг бака с горячей водой толкалась и кричала шумная толпа. Клубы пара поднимались из открытых кранов...

Сотни сбитых с толку крестьян-беженцев,—украинцы, молдаване и венгры,—разместились вдоль платформы между своими узлами и скарбом: при отступлении русские очищали страну от всех живых существ, разрушали дома и вытаптывали посевы... Начальник станции размахивал руками в центре кричавшей толпы офицеров и штатских, тыкавших ему свои пропуска и наперебой спрашивавших, когда отойдут их поезда...

У дверей нас попытался остановить вооруженный часовой, но мы оттолкнули его и прошли мимо. Он схватился за ружье, шагнул вперед и нерешительно помялся, бормоча что-то о пропусках. Мы пошли дальше. Сотни шпионов могли бы проникнуть в Тарнополь...

— В штаб!—крикнули мы извозчику.

Вдоль железнодорожного пути, по обе его стороны, громоздились выше домов груды мешков и ящиков.

Тарнополь — город тяжелой польской архитектуры, с попадающимися иногда большими, в современном немецком стиле, постройками,—город внезапных

перспектив, узких, хлопотливых улиц, окаймленных сотнями лавок, размалеванных изображениями продающихся в них товаров, улиц, кишащих евреями в длинных черных одеждах и в черных, с загнутыми полями шляпах. Выглядели они здесь лучше и менее подобострастно, чем в Новоселице. Как везде в Галиции и Польше, здесь царил смешанный запах кошера, сапожной кожи и того, что мы называем «поляк»; он наполнял воздух, отравлял пищу, которую мы ели, и пропитывал наши постели.

На полдороге мы встретили колонну солдат, маршировавшую по четыре человека в ряд—они отправлялись на фронт. Едва ли треть их была с винтовками.

Шли они тяжелой, колеблющейся походкой обутых в сапоги крестьян, держа головы кверху и размахивая руками—бородатые, опечаленные гиганты с кирпично-красными руками и лицами, в грязных подпоясанных гимнастерках, скатанных шинелях через плечо, с саперными лопатами у поясов и громадными деревянными ложками за голенищем. Земля дрожала под их шагом. Ряд за рядом направлялись мужественные, печальные, равнодушные лица в сторону запада, к неведомым боям за непонятное дело. Маршируя, они пели песню, такую же простую и потрясающую, как еврейские псалмы. Шедший во главе колонны офицер пропел первую строку, ее подхватил старший унтер-офицер, и вдруг, словно прорвавшая плотину вода, хлынул из могучих грудей нежданный подмывающий поток глубоких, уверенных голосов трех тысяч человек—волна звуков, напоминавших гремящий орган:

Последний нынешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя семья.

Они прошли. Волны медленного хора нарастали и падали все слабее и слабее. Мы проезжали между бесконечными лазаретами, из окон которых рассеянно высовывались страшные, все в белом, фигуры с посеревшими от долгого лежания лицами. Улицы были полны солдатами—раненые на костылях, старые запасные действительной службы и юнцы, которым нельзя было дать больше семнадцати. На каждого вольного приходилось три солдата, хотя это отчасти могло быть следствием и того обстоятельства, что много евреев было «пущено в расход», когда русские заняли город,—темная и кровавая тайна. На каждом углу стоял вооруженный часовой, угрожающе поглядывая на всех прохожих взглядом недоверчивого крестьянина. И когда мы проезжали мимо них в стэтсоновских шляпах, спортивных бриджах и крагах,—никогда не виданных прежде в этой стране одинаковой одежды,—они глазели на нас, открыв рты. На их лицах можно было прочесть тяжело возникавшее сомнение, но мы уже были далеко.

— Стой!—закричал часовой у штаба командующего, беря наизготовку.—Стой! Кто такой?

Мы спросили офицера, который мог бы говорить по-французски или по-немецки.

— Вы немцы?—спросил он, употребляя старинное крестьянское название германцев, происходящее от слова «немой», так как первые приезжавшие в Россию германцы не знали местного языка.

— Мы американцы.

Остальные солдаты столпились, чтобы послушать.

— Американцы!—произнес с хитрой улыбкой какой-то человек.—Если вы американцы, то скажите-ка мне, на каком языке говорят американцы?

— Они говорят по-английски.

Тогда все они пытливо уставились на вопрошавшего. Тот кивнул. Появился офицер, строго смерил нас с головы до ног и спросил по-немецки, кто мы такие и что мы тут делаем. Мы объяснили. Он почесал в затылке, пожал плечами и исчез. Затем с шумом вынырнул человек с всклокоченной бородой и попробовал говорить с нами на русском, польском и на ломаном французском. Для него это оказалось делом явно невыполнимым. Не зная, что предпринять, он стал расхаживать, пощипывая бороду. В конце концов он разослал по всем направлениям вестовых и жестом пригласил нас следовать за собой. Мы вошли в обширную комнату, прежде, повидимому, бывшую театральным залом, так как на одном конце ее возвышались подмостки, занавешенные пышно раскрашенной занавесью. Около тридцати человек в полной военной форме гнули спины над столами, трудолюбиво выписывая от руки бесконечные «отношения» бюрократической рутины. Один из них осторожно пробовал новое изобретение, пишущую машинку; очевидно, никто из них прежде ее не видывал, и она доставляла всем великое наслаждение.

Из соседней комнаты вышел молодой офицер и начал обстреливать нас строгими вопросами на беглом французском. Кто мы такие? Что мы здесь делаем? Каким образом мы сюда приехали? Мы рассказали историю своих мытарств.

— Через Буковину и Галицию!—он был поражен.— Но никому из штатских не разрешается въезд в Буковину и Галицию!

Мы предъявили свои пропуска.

— Вы корреспонденты? Но разве вы не знаете, что корреспондентам запрещен въезд в Тарнополь?

Мы указали ему на тот факт, что мы уже въехали сюда. Он, казалось, растерялся.

— Чего же вы хотите?

Я сказал ему, что мы хотим побывать на фронте девятой армии и, по просьбе американского посла в Бухаресте, разыскать нескольких американских граждан, живших в Галиции. Он пробежал глазами список имен.

— Ба! Евреи!—заметил он с отвращением.—Почему ваша страна принимает в подданство евреев? А если уж принимает, то почему не держит их у себя дома? Вы куда хотите направиться? Стрый? Калуш? Проехать туда невозможно.

— А,—сказал я,—значит, Стрый и Калуш теперь уже на первой линии?

Он усмехнулся.

— Нет. На второй линии—германской второй линии!

Мы поразились быстроте германского наступления.

— Это только вопрос времени,—равнодушно начал он.—Они скоро будут здесь.

Внезапно он стал весь внимание.

— Генерал!

Тридцать писак разом вскочили на ноги.

— Здорово, ребята,—раздался приятный голос.

— Здравия желаем, ваше с-ство!—закричали писаря в один голос и снова сели за работу.

Генерал Лечицкий оказался человеком, еще не достигшим средних лет, с живым, улыбающимся лицом. Он отдал нам честь и радушно пожал руки.

— Так вы хотите побывать на фронте?—сказал он, когда офицер доложил ему о нашем деле.—Я не понимаю, каким образом вам удалось проехать сюда, ведь корреспондентам пребывание в Тарнополе совершенно не разрешается. Однако, ваши бумаги в полном порядке. Но я не могу разрешить вам посетить передовые позиции: великий князь издал приказ, абсолютно запрещающий это. Вам лучше поехать в Львов—Лемберг—и попытаться добиться разрешения через князя Бобринского, генерал-губернатора Галиции. Я вам дам пропуска. А пока что вы можете оставаться здесь, сколько потребуют ваши дела...

Он поручил нас молодому прапорщику, говорившему по-английски, и распорядился, чтобы нам приготовили комнату в отеле, предназначенном для штабных офицеров, и обед в офицерской столовой.

Мы были поражены городом: Тарнополь был полон войсками—полки, возвращавшиеся с позиций на отдых, отправляющиеся на фронт, свежие пополнения, прибывающие из России в военной форме, еще не истрепанной в битвах. Могучие хоровые песни сталкивались и разбивались друг о друга непрестанными волнами сильных голосов. Только немногие были вооружены. Длинные товарные поезда, груженные несметным количеством муки, мяса и консервов, тянулись на запад, военного же снаряжения мы не видали.

Молодой офицер рассказал, в чем дело. Он прошел через бедствия Мазурских озер, а затем был на Карпатах.

— Даже еще перед отступлением,—говорил он,—у нас не было нужного количества винтовок и снаряжения. Моя часть, например, была размещена в двух окопах: в передовом и запасном. Треть моих людей сидела

в первом окопе, и у них были винтовки. Все остальные были безоружны, они должны были переползать один за другим вперед и подбирать ружья убитых.

Мы ходили по улицам; часовые на углах собирались и, перешептываясь, смотрели на нас, пока, наконец, не решили, что мы немецкие шпионы—тогда они задержали нас и повели в участок. Там никто не знал, что с нами делать, и мы торжественно продефилировали в штаб, где наш новый знакомый, говоривший по-французски офицер, освободил нас, наградив часовых бранью. Бедная стража убралась в великом смущении. Им было приказано задерживать подозрительных людей, а когда они так и сделали, то им же за это попало. Весь день, через ровные промежутки времени, нас задерживали новые солдатские посты, и комедия повторялась снова.

— Скоты!—орал офицер, махая кулаками перед бедными, сбитыми с толку солдатами.—Дураки! Я вас под арест!

Мы кротко намекнули ему, что он мог бы выдать нам пропуск, который мы сможем показывать, когда нас будут останавливать, но он сказал, что не имеет на то права...

Под вечер мы стояли около бараков, наблюдая длинную колонну угрюмых австрийских пленных, маршировавших под конвоем. Стоявший на часах солдат глядел, раскрыв рот, несколько минут на наши краги, медленно водил глазами по нашим костюмам и, наконец, задержал нас и подвел к стоявшему на углу офицеру в очках.

Тот обратился к нам по-немецки, и мы ответили. Он подозрительно уставился на нас поверх очков.

— Где ваши паспорта?

Я ответил, что мы оставили их в гостинице.

— Пожалуй, надо отвести вас в штаб,—сказал он.

— Мы уже были в штабе,—заметил я.

— Х-м!—задумался он.—Ну тогда в полицию.

— Что за смысл? Мы уже были в полиции.

— Х-м!—это был тупик, так что он переменил тему.—Вы корреспонденты? В каких странах вы были?

— Мы только что приехали из Сербии.

— Как дела в Сербии?

Я сказал, что эпидемия приняла там ужасные размеры.

— Эпидемия!—отозвался он.—Какая эпидемия?—Он никогда не слыхал о тифе.—В самом деле!—равнодушно произнес он.—Скажите, как вы думаете, вмешается Италия в войну?

— Италия уже шесть недель как воюет.

— Да не может быть!—подскочил он.—Однако, господа, мне пора. Очень рад с вами познакомиться,—sehr angenehm...

Он поклонился и ушел.

Никто не знал, когда отходит поезд на Лемберг. Наш офицер телефонировал квартирмейстеру, тот позвонил начальнику сообщения, который в свою очередь запросил железнодорожную администрацию. Оттуда ответили, что ничего нельзя сказать наверняка: поезд может отойти через пять минут и завтра утром. Так что мы снова ввалились в ужасающую вокзальную толчею, прислонили наши вещи к стене и уселись в ожидании. Длинная вереница носилок со стонущими ранеными пробивалась к санитарному поезду; бегущие

солдаты наталкивались друг на друга; хрипло орали офицеры; вспотевшие кондуктора безнадежно разводили руками у своих поездов, до-нельзя загородивших пути. Толстый полковник энергично наступал на изнуренного начальника станции, показывая на свой полк, растянувшийся, далеко вдоль товарной платформы.

— Где, чорт возьми, мой поезд?—шумел он.

Начальник станции пожимал плечами.

Были там кавалерийские офицеры в зеленых штанах, с широкими саблями; офицеры авиационных и автомобильных частей, у которых вместо шашек висели тупые кортики с рукоятками под слоновую кость; казаки, уральские и кубанские, в сапогах с острыми, загнутыми кверху носками, в длинных черкесках, открытых на груди и перетянутых в талии поясом, украшенным драгоценными металлами и кинжалом в серебряной оправе, и в высоких папахах, расшитых наверху золотым и красным; генералы, различных степеней «превосходительства». Были там и хромые офицеры, и офицеры настолько близорукие, что не могли читать, и однорукие офицеры, и офицеры-эпилептики. Проходили мелкие почтовые и железнодорожные чиновники, разодетые как фельдмаршалы, и тоже с шашками. Почти каждый одет в военную форму с золотыми или серебряными погонами на плечах; число и разнообразие их сбивало с толку. Редко можно было встретить офицера, чья грудь не была бы разукрашена золотыми или серебряными значками политехникумов и институтов инженеров, блестящими лентами орденов Владимира, Георгия; золотое оружие за храбрость было явлением обычным. И все они беспрестанно отдавали друг другу честь...

Через семь часов мы сели в поезд на Лемберг и попали в одно отделение с двумя ничтожными офицерами средних лет, весьма типичными для девяти десятых второстепенных русских бюрократов. Они разговорились с нами на ломаном немецком, и я спросил их о запрещении водки.

— Водка!—сказал он.—Можете быть уверены, что продажу водки прекратили не без того, чтобы нагнать потерянное другим путем. Все это очень хорошо для военного времени, но после войны у нас снова будет водка. Каждый хочет водки. С этим ничего не поделаешь.

Его попутчик спросил, есть ли в Америке обязательная воинская повинность. Я сказал—нет.

— Как в Англии,—кивнул он.—Все это очень хорошо у вас, но в России с этим ничего бы не вышло. Крестьяне не стали бы воевать.

— А я думал, народ настроен очень воинственно.

— Пуф!—с презрением ответил он.—Русский крестьянин очень туп. Он ни слова прочесть не может. Если ему предложить итти добровольцем, он скажет, что ему и дома хорошо и он вовсе не хочет быть убитым. Но раз ему приказывают итти, он идет.

Я хотел узнать, была ли какая-нибудь организованная оппозиция войне. Первый утвердительно кивнул головой.

— Пятнадцать членов Думы,—членов Думы не могут казнить,—находятся в тюрьме за организацию революционной пропаганды в армии. Людей, которые распространяли ее в рядах армии, всех расстреляли. Почти все это были евреи...

За четырнадцать часов мы проехали только сорок пять миль. Мы часами стояли на разъездах, пропуская воинские эшелоны и длинные белые ряды молчаливых вагонов, пахнувших иодоформом. И снова пространства желтеющих тяжелых хлебов—замечательный урожай здесь.

Страна жила солдатами. Ими были набиты все станции; полки, лишь наполовину вооруженные, рассаживались вдоль платформ в ожидании своих поездов. Поезда кавалерии с лошадьми, платформы, высоко нагруженные продовольствием, беспрестанно попадались нам навстречу. Повсюду крайняя дезорганизация: расположившийся у железнодорожного полотна батальон ничего не ел весь день, а дальше громадный навес—столовая, в которой портились тысячи обедов, так как люди не прибыли во-время. Нетерпеливо гудели паровозы, прося свободного пути... На всем лежал отпечаток безалаберно затраченных повсюду огромных сил.

Какая разница с бесперебойной германской машиной, которую я видел в северной Франции четыре месяца спустя после оккупации. Там тоже стоял вопрос о транспортировании миллионов людей, о переброске их из одного места в другое, о перевозке для них оружия, снаряжения, еды и одежды. И хотя северная Франция покрыта железнодорожной сетью, а Галиция нет, германцы построили новые четырехпутевые линии, устремившиеся через всю страну и врезавшиеся в города через железобетонные мосты, сооруженные в восемнадцать дней. В германской Франции поезда никогда не опаздывали.

ЛЕМБЕРГ ПЕРЕД ПРИХОДОМ ГЕРМАНЦЕВ

Громадный вокзал в Лемберге—или Львове, по-польски—был забит пробегавшими с криком войсками, солдатами, спавшими на заплеванном полу, обалдевшими беженцами, бестолково бродившими повсюду. Никто нас ни о чем не спрашивал и не останавливал, хотя Лемберг был одним из запрещенных для въезда мест. Мы проехали через старинный королевский польский город, между мрачными стенами больших каменных построек, похожих на римские или флорентийские дворцы—некогда резиденция самого заносчивого дворянства в мире. На маленьких площадях, между извилистыми средневековыми улицами, стояли старинные готические церкви—высокие, узкие крыши, тонкие башенки, искусно выложенные камнями, с разноцветными окнами. Необъятные постройки в современном германском стиле выдавались на ярком небе; встречались ювелирные магазины, рестораны, кафэ и широкие, зеленые скверы большого города. Жалкие еврейские кварталы раскинулись на бойких улицах, заваленных мусором и многолюдных от суматохи; но здесь дома их и магазины были просторней, чаще слышался смех, и чувствовали они себя свободней, чем в других местах, которые мы видели. Солдаты,—повсюду солдаты,—евреи и быстрые, размахивающие руками поляки—толпились на тротуарах.

Повсюду раненые—выздоравливающие. Целые улицы домов превращены во временные лазареты. Никогда, ни в одной стране во время войны не видывал я такого колоссального количества раненых, как в русской прифронтовой полосе.

«Отель Империаль» был старым дворцом. В нашей комнате, площадью двадцать пять футов на тридцать и вышиной в четырнадцать футов, внешние стены были девяти футов толщины. Мы позавтракали, затерянные в пустыне этих обширных аппартаментов, а затем, так как в наших пропусках значилось, что «податели сего должны немедленно явиться в канцелярию генерал-губернатора Галиции», направились в старинный замок польских королей, где местная русская бюрократия действовала теперь со своей неуклюжей бесполезностью.

В передней толпа беженцев и всякого рода штатских осаждала стол писаря. В конце концов он взял наше удостоверение, внимательно прочел его раза два—три, перевернул его вверх ногами и вернул нам, пожав плечами. Больше он не обращал на нас никакого внимания, так что нам пришлось самим пробивать себе дорогу мимо нескольких часовых во внутреннюю комнату, где за столом что-то писал офицер. Он посмотрел на наше удостоверение и мягко улыбнулся:

— Не знаю,—сказал он.—Я ничего не знаю по этому делу.

Мы спросили, нет ли здесь кого-нибудь, кто умеет говорить по-французски или немецки, и он пошел на поиски. Через три четверти часа он вернулся в сопровождении старого капитана, говорившего немного по-немецки. Мы объяснили, что генерал Лечицкий велел

нам обратиться в канцелярию, и что мы хотим посетить фронт.

— Я вас проведу. Вот сюда...—указал он нам коридор.

Пройдя немного, мы внезапно потеряли его из вида. Никогда больше мы его не встречали.

Прямо перед нами на дверях была надпись: «Штаб генерал-губернатора». Мы вошли, сказав ординарцу, что хотим видеть кого-нибудь, кто понимает по-французски или немецки. К нам быстро вышел жизнерадостный полковник и представился, пожав руку:

— Петр Степанович Верховский, à votre service. [1]

Мы рассказали в чем дело.

— Подождите, пожалуйста, несколько минут, господа,—сказал он.—Я выясню ваше дело.

Он взял наш пропуск и исчез. Через час в комнату вошел вестовой и, пожав плечами, протянул мне удостоверение.

— Где же полковник Верховский?—взмолились мы.

— Не понимаю!—пробормотал он.—Не понимаю!

Я послал стоявшего у дверей вестового разыскать полковника. Через несколько минут тот появился, вежливый, как всегда, но весьма удивленный, что мы все еще здесь.

— В вашем удостоверении определенно сказано, что вам следует обратиться в канцелярию,—объяснил он,—но я напрасно проискал соответствующий отдел. По правде говоря, мы здесь очень обескуражены утренними известиями с фронта... Я советую вам пойти к князю Бобринскому, в его личную приемную, и поговорить с его адъютантом князем Трубецким... Только не говорите, что это я вас направил.

[1] К вашим услугам. (Прим. ред.).

По пути к губернатору мы миновали четыре поста подозрительно поглядывавших часовых. Мы послали наши визитные карточки и были тотчас же приглашены в комнату, полную франтовато-одетыми офицерами. Они курили, смеялись, болтали и читали газеты. Молодой щеголь в гусарской форме, окруженный веселой компанией, рассказывал по-французски случай о себе и польской графине, которую он встретил в Ницце... Добродушный бородатый русский поп в длинной черной шелковой рясе, с огромным серебряным распятием на серебряной цепи, прохаживался под руку с грузным полковником, увешанным знаками отличия... Ничто не казалось более далеким от этого легкомысленного, благовоспитанного общества, чем война.

К нам подошел высокий красивый юноша со сверкавшими из-под пышных усов зубами и протянул руку.

— Я—Трубецкой,—сказал он по-английски.—Как вам удалось пробраться сюда? Для корреспондентов немыслимо попасть в Лемберг.

Мы показали массу пропусков, подписанных генералами и начальниками их штабов.

— Американцы!—вздохнул он, кусая губы, чтобы подавить смех.—Американцы! Что толку ставить рогатки, когда кругом бродят американцы?.. Я не понимаю, как вы узнали, что я здесь, и почему вы пришли именно ко мне...

Мы промямлили что-то о том, что встречали в Нью-Йорке скульптора Трубецкого.

— Ах, да,—сказал он.—Он стал интернационален. Он, вероятно, и по-русски-то не говорит. Но раз вы уже здесь, чем я могу быть для вас полезен?

— Мы хотим попасть на фронт.—Здесь он с сомнением покачал головой.—По крайней мере мы думали, что генерал-губернатор может разрешить нам побывать в Перемышле.

— Я уверен, он разрешил бы,—осклабился князь.—Но прискорбные известия сегодняшнего утра... В восемь часов Перемышль заняли австрийцы!

Нам и не снилось, что он может пасть так скоро.

— Как вы думаете, они могут дойти и до Лемберга?

— Весьма возможно,—ответил он равнодушно.—В этом нет никакой стратегической потери. Мы выпрямляем наш фронт.

Затем, переменив тему, он сказал, что лично повидает генерал-губернатора и спросит, что можно для нас сделать. Не придем ли мы утром?

Поп, все время прислушивавшийся, спросил на совершенно чистом английском языке, из какой мы части Америки.

— Я прожил в Америке шестнадцать лет,—произнес он, улыбаясь.—В течение восьми лет я был священником в греческой церкви в Йонкерсе, предместьи Нью-Йорка. Я приехал на войну, чтобы помочь всем, чем смогу... Теперь я жду только мира, чтобы снова вернуться в Америку...

Когда мы вышли на улицу, колонна гигантских солдат, по четыре в ряд, огибала угол, направляясь к кухням за обедом. За спиной у каждого болтался жестяной котелок. Как раз против замка передний ряд затянул песню, ее подхватили остальные:

Помню, я еще молодушкой была,
Наша армия в поход куда-то шла...

И по всем улицам разливались солдатские песни. Мы могли разглядеть серые шапки, плывшие вдоль улицы. Могучие звуки встречались, сталкивались, как волны в море, родя эхо, повторявшееся между высокими зданиями—город гудел глубокой мелодией. Это была неисчерпаемая сила России, могущественнейшая кровь ее вен, небрежно проливаемая из бездонных источников необъятного населения, теряемая навеки... Парадокс разбитой армии, которая накапливает силу,—отступающего войска, чьи победы неизбежны для противника.

Русские деньги приходили у нас к концу, так что утром мы хотели разменять английское золото. Но никто не брал. Все задавали один и тот же вопрос, понизив голос и оглядываясь, нет ли поблизости солдат:

— А австрийские деньги у вас есть?

По городу уже шла молва о возвращении австрийцев.

Мы явились в назначенное время к Трубецкому, и он провел нас через старинный тронный зал в приемную адъютанта генерал-губернатора, вежливого офицера, сюртук которого сверкал орденами.

— Князь Трубецкой и я сделали для вас все, что только могли,—дружески улыбаясь, сказал он.—Губернатор крайне сожалеет, но не может дать вам разрешения посетить фронт. Об этом вам надо хлопотать перед военными властями, а он, знаете ли, ведь гражданский чин. Но так или иначе, я не сомневаюсь, что они дадут вам возможность поехать. Тогда возвращайтесь сюда, и мы будем весьма рады вам помочь.

Мы спросили, где именно можно получить это разрешение.

— Есть два пути. Вы можете проехать или в Петроград и через ваших посланников обратиться

с соответствующей просьбой к его высочеству великому князю Николаю Николаевичу, или в Холм, это в Польше, где находится главный штаб генерала Иванова, главнокомандующего юго-западным фронтом. Мы оба, князь Трубецкой и я, думаем, что вы скорее добьетесь своего, если обратитесь к генералу Иванову. Его высокопревосходительство генерал-губернатор такого же мнения. Я выдам вам пропуска, с которыми вы доедете до Холма.

В полночь мы оставили отель, чтобы попасть на отходивший в Холм поезд. Нигде не было видно ни одного извозчика, и дежуривший на станции офицер, говоривший по-французски, пригласил нас поехать с ним. Его овальное полусемитское лицо казалось копией с ассирийских стенных рисунков—он сказал, что он с Кавказа, грузин.

— Грузинские полки переброшены сюда с турецкого фронта. Великий князь поступил правильно. Мы, грузины,—храбрейшие солдаты в армии,—сказал он.

— Возьмут австрийцы Лемберг?—спросил Робинзон.

— О да,—ответил он благодушно.—Мы ждем их каждый день теперь. Но это ничего не значит, знаете ли. Этой зимой мы вернемся... или следующей, может быть.

ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО

От Лемберга до Холма меньше ста миль, но между ними нет прямого железнодорожного пути. Нужно проехать миль триста—сперва забрать глубоко в Россию, а затем вернуться через Польшу.

В четырехместном купе, кроме нас, сидело еще двое—молодой и молчаливый капитан, который разлегся на своей лавке в сапогах и беспрестанно курил, и ворчливый генерал, по старости лет отпущенный домой. Генерал пытался плотно закрыть и окно, и дверь,—русские так же, как и остальные люди континентальных стран, испытывают болезненный страх перед свежим воздухом. Продолжавшаяся у нас по этому поводу всю ночь ожесточенная перепалка, в которой доблестное американское мужество сопротивлялось малодушию царского сатрапа, была прекращена наконец железнодорожной полицией...

Белоруссия. Часами ехали мы через непроходимую чащу березового и хвойного леса, не видя ни людей, ни жилья... И только свист паровоза разрывал, возбуждая эхо, лесную тишину. Иногда сквозь прогалину можно было мельком разглядеть широкую, пожелтевшую вырубку, на которой виднелись заросшие травой черные пни. Жалкие деревни жались вокруг «казенок»,—теперь закрытых,—несчастные деревянные лачуги,

разбросанные среди грязи и небрежно крытые соломой; изрезанное колеями пространство—во власти роющих землю свиней и необъятных гусиных стад.

На поле работали бок-о-бок широкоплечие женщины, подвигаясь размашистыми, ритмичными движениями—вероятно, какая-нибудь женская артель косцов из дальних мест. Повсюду было много молодых, здоровых «мужиков». Они размахивали топорами среди валившихся деревьев, с песнями возили лес по проселочным дорогам и на протяжении многих миль карабкались по стропилам и бревнам временных навесов, покрывавших горы армейского продовольствия.

Ни на секунду не могли мы забыть о войне. Все города были полны солдатами, один за другим шли на запад битком набитые ими поезда. И когда мы останавливались на разъездах, мимо нас проползал бесконечный ряд белых санитарных вагонов, из окон которых выглядывали бледные, изможденные лица забинтованных людей. В каждой деревне военный госпиталь...

У нас была пересадка в Ровно, где нам пришлось прождать девять часов. Там мы наскочили на Мирошникова, говорившего по-английски офицера, на попечении которого мы были в Тарнополе; он ехал теперь в командировку на север.

— Давайте пройдемся,—предложил он.—Я хочу вам показать типичный еврейский город в черте оседлости.

Когда мы отправились, я спросил о значении красно-бело-синего шнура, которым были обшиты его погоны.

— Это значит, что я волонтер, освобожденный от принудительной службы. Русское название такого волонтера,—с улыбкой ответил он на мой вопрос,—«Volnoopredielyayoustchiysia»—вольноопределяющийся.

Тут уж мы оставили всякую надежду на изучение русского языка...

Я никогда не забуду Ровно, этот еврейский город в черте оседлости. Он был русским по своей безалаберной обширности, широким улицам, наполовину только вымощенным булыжником, по выбоинам на тротуарах, кривым деревянным домам, отделанным резной ярко-зеленой обшивкой, и толпящемуся мелкому чиновничеству в мундирах. Изобиловали извозчичьи пролетки на маленьких колесах, с тяжелой русской упряжью; правили ими косматые дегенераты в изношенных вельветовых армяках и безобразной формы колоколообразных шляпах. Но все остальное—еврейское... Улица была загромождена зловонными отбросами среди вязких луж, разбрызгиваемых при каждом проезде повозок. Кругом жужжали облака отъевшихся мух. По обе стороны теснилось множество маленьких магазинов, а их бросающиеся в глаза вывески, размалеванные изображениями продающихся вещей, образовывали вниз и вверх по улице какой-то сумасшедший ряд. Засаленные хозяева стояли у прокопченных дверей, и каждый из них кричал нам, чтобы мы купили у него, а не у его конкурента-жулика по другую сторону дороги. Слишком много магазинов, слишком много извозчиков, парикмахерских, портных, скученных в этом тесном мире, где только и разрешено евреям жить в России и который еще пополняется периодически толпами несчастных, живших в запрещенных городах, благодаря взяткам полиции. Крайне тяжело дышится евреям в черте оседлости.

Какая разница между ними и даже беднейшими, несчастнейшими евреями галицийских городов!

Вошел офицер, которого мы встретили в поезде. Он понюхал воздух, поклонился нам и, враждебно сверкнув на прислуживавших перепуганных девушек, отчетливо произнес:

— Грязные жиды! Я ненавижу их!—и вышел.

Целый день мы ходили около вокзала, но только к вечеру полиция решилась арестовать нас. Со многими другими предстали мы перед важным полковником,—звали его Болотов,—которого мы несколько раз встречали в течение нашего путешествия.

Он был увешан высокими знаками отличия, носил золотое оружие за храбрость, грудь его была подложена ватой, а свирепые усы подкрашены. Мы никак не могли понять, что делал он во время своих досужих странствий.

Мирошников сказал ему, что Робинзон—известный художник.

— Посмотрим!—коварно произнес Болотов. Он обратился к Робинзону:—Если вы действительно художник, нарисуйте, пожалуйста, мой портрет.

Встав к свету, он принял воинственную позу, положил руку на рукоятку шашки, закрутил усы, и Робинзон принялся рисовать, защищая свою жизнь. Портрет был гнусной лестью. Полковник Болотов разглядывал его с полным удовлетворением. Он обернулся к полиции.

— Освободите этих джентльменов,—величественно приказал он.—Это известные журналисты...—А затем к Робинзону:—Не подпишете ли вы этот набросок?

Ночь мы проспали на скамейках в вагоне маршрутного поезда, прождали во время пересадки в Ковеле семь часов и сели на прямой поезд в Холм, хотя никто

толком не знал, когда он придет туда. До вечера мы ползли на запад по громадной польской равнине. Обширные ржаные поля, окаймленные цепью красных маков—точно волнующееся желтое море рядом с мрачными мысами леса и веселыми островами крытых соломой деревень...

Наполовину скрытые мощным цветом акаций, стояли деревянные станции, в которых гостеприимно кипели самовары; медленные в движениях крестьяне с тяжелыми лицами неподвижно глазели на поезд—мужчины в длинных серых свитках из грубой шерсти, женщины в ярких и пестрых юбках и платках. И уже под конец дня, когда заходившее солнце затопило равнину пышным, нежным светом, и все красное, зеленое и желтое запылало ярким блеском, мы со свистом пронеслись через песчаный сосновый лес и увидали перед собой покрытые деревьями возвышенности Холма с группами сверкающих греческих куполов, точно золотых пузырей, плывущих по зеленой листве.

Только что обретенный, но уже ставший нашим интимным другом, капитан Мартынов критиковал армию с истинно-русским чистосердечием.

— ...страшная безалаберность,—говорил он.—Дайте я расскажу вам одну историю. В октябре я стоял со своим полком в Тильзите. Как раз тогда началось германское наступление на Варшаву, и мы получили спешный приказ поторопиться в Польшу. Хорошо. От Тильзита до ближайшей железнодорожной станции, Митавы, сто верст. Мы покрыли их в три дня форсированным маршем, и пришли в довольно потрепанном виде. Что-то было не так сделано, и нам пришлось прождать на платформе двадцать четыре часа без сна, так как было

очень холодно. В поезде мы ехали два дня до Варшавы, прямо-таки умирая с голода. Никто не позаботился о том, чтобы нас покормили. Когда мы прибыли, Лодзь уже пала. Мы приехали ночью и промаршировали через весь город к другому поезду, отходившему на Терезу, где тогда шли бои. Проехали немного по железной дороге, но дальше путь был разбит снарядом. Мы разгрузились с поезда под дождем в два часа ночи и шли пять часов до Терезы. В восемь часов мы добрались наконец до штаба дивизии, которой командовал генерал М., тот, что наделал таких ужасных ошибок в Маньчжурии. Ноги у наших людей были в ужасном состоянии, солдаты в самом деле не спали три ночи и едва ли ели что-нибудь последние два дня. Через полчаса, как мы развалились на земле, изнуренные дождем, вошел генерал с начальником штаба.

«Сколько у меня здесь людей?»—отрывисто спросил он.

«Восемь тысяч».

«Хорошо, пошлите их на смену в окопы».

Наш полковник запротестовал:

«Но мои люди не могут итти в окопы. Им надо отдохнуть и поесть. В течение пяти дней...»

«Все равно!—выпалил генерал.—Я не нуждаюсь в вашем мнении. Марш!»

— Генерал снова отправился спать. Мы уговаривали, оправдывались, угрожали: ужасно было слышать, как они просили есть и спать,—и колонна закачалась к передовым позициям.

— Мы заняли их в десять часов и весь день пробыли под чрезвычайно сильным огнем, настолько сильным, что походные кухни не могли добраться до нас раньше

полуночи, так что нам нечего было есть. Германцы атаковали нас дважды за ночь, так что никто не спал. На следующее утро нас обстреливала тяжелая артиллерия. Люди шатались, словно пьяные, забывали принимать меры предосторожности и засыпали в то время, как по нас стреляли. Офицеры с блестящими глазами, бормоча что-то, как лунатики, ходили взад и вперед, колотя солдат ножнами своих шашек... Я забыл, что я тогда делал, да и остальные тоже, я думаю. В самом деле, я совершенно не могу вспомнить, что за этим последовало, но пробыли мы там четыре дня и четыре ночи. Один раз в ночь походные кухни доставляли суп и хлеб. По крайней мере трижды в ночь германцы бросались в штыковые атаки. Мы отступали из окопа в окоп, защищаясь, как загнанные звери, но делали все это как в чаду. Наконец, на пятое утро нас сменили. Из восьми тысяч человек вернулось только две тысячи, да и то тысяча двести из них легли в лазарет.

— Но самое замечательное во всей этой истории то, что все время, пока нас там крошили, в резерве, всего в двух милях от нас, стояло шесть свежих полков! О чем только, как вы полагаете, думал генерал М.?

АРЕСТ À LA RUSSE [1]

— Следующая остановка Холм,—сказал Мартынов, выглянув в окно. Где-то между теснившимися крышами и колокольнями находился штаб генерала Иванова, командовавшего всем юго-западным фронтом—второго по могуществу человека после самого великого князя Николая Николаевича. Наконец-то мы встретим человека, имеющего право разрешить нам посетить фронт.

Пока мы тряслись на извозчике в сумерках полуосвещенных улиц, у меня с Робинзоном разгорелся горячий спор о том, какое сражение лучше было бы увидеть. Робинзон настаивал на пехотном бое, а я выбрал кавалерийскую казачью атаку.

Часовой у штаба командующего сказал, что сейчас уже поздно и все разошлись по домам.

— Loutche gostinnitza! Лучшая гостиница!—сказали мы извозчику. Непроизвольно смотрели мы по сторонам, ожидая увидеть «Отель Бристоль», который можно найти в любом центре, городке и деревне Западной Европы,—но плакал наш «Отель Бристоль». Лучшая гостиница оказалась трехэтажным, оштукатуренным зданием на середине крутой улицы тесного еврейского квартала. На ней вывеска по-русски: «Английский Отель». Разумеется,

[1] По-русски. (Прим. ред.).

никто там не говорил по-английски и ни один англичанин туда не заезжал. Но маленький черноусый Поль, который опрометью бросался на крик: «Nomernoi!» (номерной) нетерпеливых постояльцев, знал две фразы по-французски: «très jolie» (очень хорошо), и «tout de suite» (сейчас), а хозяин, еврей, говорил на жаргоне.

На следующее утро, когда мы одевались, вошел остриженный под машинку офицер и вежливо пригласил нас следовать за ним в штаб. Не менее четырех человек,—сказал он,—слышали, как мы говорили по-немецки, и сообщили о присутствии в Холме шпионов. Нас ввели в комнату, где за маленьким столом сидел человек с приятным выражением лица. Он с улыбкой пожал нам руки и заговорил по-французски. Мы предъявили наши пропуска и рекомендательное письмо князя Трубецкого.

— Генерал-губернатор Галиции посоветовал нам поехать сюда и обратиться к генералу Иванову за разрешением посетить фронт.

Он весело кивнул головой.

— Очень хорошо. Только нам надо сперва протелеграфировать великому князю... Пустая формальность, знаете ли. Ответ будет через два, максимум через три часа. А пока я попрошу вас вернуться к себе в гостиницу и подождать там.

Наша комната помещалась на третьем этаже, прямо под крышей, потолок у нее был покатый, а два слуховых окна выходили на пустой и грязный еврейский двор. Дальше виднелись корявые, заплатанные железные крыши скученного еврейского городка и возвышавшийся над ними холм, покрытый густым лесом и увенчанный колокольнями и куполами монастыря. Направо,

к воротам монастырского парка вела выложенная булыжником улица. Она проходила между жалкими хижинами и большими домами, густо населенными евреями.

Налево, поверх крыш, открывался вид на широко расстилавшуюся равнину. Она бесконечно тянулась на север,—леса, поля, деревни и между ними железная дорога, оживлявшая их грохотом поездов.

Мы ждали целый день, но никто не пришел. На следующее утро, еще прежде чем мы встали, вошел к нам, кланяясь, лысый офицер.

— Великий князь не прислал еще ответа,—сказал он уклончиво,—но он пришлет его, вероятно, сегодня... или, может быть, завтра.

— Может быть, завтра!—вскричали мы в один голос.—Я думал—это дело двух—трех часов!

Он забегал глазами.

— Его высочество очень занят...

— Не может ли его высочество все-таки урвать для нас несколько минут от своих занятий по разработке планов отступления?

— Имейте терпение, господа,—раздраженно и неутешительно ответил офицер,—теперь это вопрос часа—двух. Я обещаю вам, что никаких задержек больше не будет... А теперь мне приказано просить вас отдать все ваши бумаги, все, что у вас есть.

— Заподозрили нас в шпионаже, что ли?

Он натянуто рассмеялся и ответил «нет», но так, как будто знал кое-что.

— А теперь,—сказал он,—дайте мне честное слово, что вы не выйдете из гостиницы, пока не придет ответ.

— Это что, арест?

— Ну что вы, нет! Вы совершенно свободны. Но эта местность имеет такое большое военное значение. Вы понимаете...

Неразборчиво бормоча, он поторопился покинуть нас, чтобы избавиться от необходимости отвечать на наши вопросы.

Через пятнадцать минут к нам в комнату бесцеремонно вошли хозяин и три казака—здоровенные детины в высоких папахах, остроносых сапогах, длинных черкесках; у каждого из них на поясе спереди висел длинный, в серебряной оправе, кинжал, а сбоку—длинная, тоже в серебряной оправе, казацкая сабля. Они тупо уставились на нас.

— Что им нужно?—спросил я по-немецки.

Хозяин примирительно улыбнулся.

— Только посмотреть на вас...

Немного погодя, когда я пошел вниз, один из казаков прохаживался перед нашей дверью. Он посторонился, чтобы дать мне пройти, но нагнулся над перилами и прокричал вниз что-то по-русски. Там показался второй казак. Я увидел, что из выходной двери на меня глазел третий.

Мы написали генералу Иванову негодующее письмо, протестуя против русского понятия о «честном слове» и требуя объяснения подобного обращения с нами. К полуночи пришел полковник и сказал, что казаков, по приказу генерала, немедленно уберут.

На следующее утро их убрали на самый низ лестницы, откуда они подозрительно поглядывали на нас.

Говоря о нашем аресте, полковник заметил, что обстоятельства дела весьма серьезны: мы проникли в район военных действий без надлежащего разрешения.

— Но как мы могли знать, какие именно разрешения у вас требуются? Наши были подписаны генералами и заверены князем Бобринским в Лемберге. В чем же наша вина?

— Во-первых,—сказал он,—вы приехали в Холм, куда запрещен доступ корреспондентам. Во-вторых, вы разузнали, что Холм является местопребыванием штаба генерала Иванова, а это—военная тайна.

— Но адъютант губернатора...

— Я допускаю,—перебил он,—что кое-кто из официальных лиц проболтался. Это порядочный скандал. Все эти офицеры, которые направляли вас, просто...— он раздраженно махнул рукой.—Но это не оправдывает вас.

И он исчез под градом наших возражений.

В субботу утром появился уже знакомый нам бритый капитан.

Выглядел он печальнее обычного.

— Я должен сообщить вам, господа, весьма неутешительные новости,—начал он официально.—Великий князь ответил на нашу телеграмму. Он пишет: «Содержите арестованных под строгой охраной».

— А что насчет нашей поездки на фронт?

— Это все, что он ответил.—Капитан начал спешить.—Так что вам придется пробыть в этой комнате впредь до особых распоряжений. Если вам что-нибудь будет нужно, позовите часовых.

— Но, постойте,—сказал Робинзон,—что приключилось с вашим глупым великим князем...

— О!—укоризненно перебил его офицер.

— Зачем же вы нас тут запираете? Неужели великий князь думает, что мы шпионы!

— Видите ли,—неуверенно возразил он,—есть кое-что странное и неожиданное в ваших бумагах. Там есть список имен...

Мы в сотый раз начали нетерпеливо объяснять, что это были имена американских подданных, застигнутых войной где-то в Буковине или в занятой русскими войсками Галиции, и что американский посланник в Бухаресте дал нам этот список с просьбой разыскать их.

Офицер поглядывал взглядом беззлобным, но непонимающим.

— Однако, там много еврейских имен.

— Но они американские подданные!

— Ах, вы хотите сказать, что евреи—американские подданные?

Мы подтвердили столь невероятный факт, и он не возражал, но мы видели—он не поверил нам.

Затем он отдал приказание: ни в коем случае нам не разрешалось выходить из комнаты.

— Но нам можно ходить по коридору?

— К сожалению...—пожал он плечами.

— Это абсурд,—сказал я.—В чем нас обвиняют в конце концов? Я требую, чтобы нам разрешили протелеграфировать нашему представителю.

Он неопределенно кивнул головой и вышел, бормоча что-то о том, что он переговорит со своим начальством. Два казака немедленно поднялись по лестнице и начали прохаживаться по маленькому коридору перед нашей дверью, третий стал на нижней площадке, четвертый—у входных дверей, а пятый влез на сарай еврейского дома рядом и тупо уставился на наши окна.

Посоветовавшись, мы с Робинзоном составили дипломатическую ноту русским властям—по-английски, чтобы

заставить их попотеть над переводом,—в которой уведомляли, что с этого дня мы отказываемся оплачивать счета гостиницы. Позвав казака, мы поручили ему отнести наше письмо в штаб.

Было около полудня. Медленно поднималось июньское солнце над широкой польской равниной, накаляя отлогую крышу.

Неописуемый запах поднимался от стоков нечистот в еврейском квартале и несся в наше окно. Мы сбрасывали с себя одну одежду за другой и высовывались из окна в поисках воздуха. По двору разнеслась весть о знаменитых пленниках в верхнем этаже «Английского Отеля», и еврейская семья, жившая в соседнем доме, пониже нашего, высыпала из дверей и стояла, глазея на нас: согбенные морщинистые старухи с гноящимися глазами, растрепанные женщины в париках, маленькие девочки, почтенные старые раввины с длинными седыми бородами, мужчины средних лет, тощего вида юноши и подростки,—все одинаково одетые в смешные ермолки и похожие на плащ пальто. За дворовой решеткой стояла безмолвная толпа горожан, тоже почти все евреи, молча устремив взгляды на наше окно. Они принимали нас за пойманных немецких шпионов. Русские считали всех евреев предателями—и действительно, кто не был бы «предателем», если бы он был евреем в России! С каким глубоким волнением должны были некоторые из них смотреть на нас, целый день слушающих отдаленный гул немецких орудий—освободителей...

Ночью бритый офицер вернулся с разрешением телеграфировать нашему посланнику и с ответом генерала Иванова на наше заявление: он не знал, почему великий князь приказал нас арестовать. Что касается счета

в гостинице, то уплату по нему берет на себя правительство. Когда мы сказали это хозяину, он смертельно побледнел.

— Если платит русская армия,—воскликнул он,—то мне никогда не заплатят.

Между тем телеграммы канули в бесконечность, и в течение недели не было ответа. Целую неделю мы прожили в этой вонючей комнате под раскаленной железной крышей. Мы отмеряли четыре шага в длину и пять в ширину. Из книг у нас был только русско-французский словарь и «Сад пыток», все очарование которого истощилось после шестого чтения. На пятый день хозяин раздобыл каким-то образом в городе колоду карт, и мы играли в бридж с двумя выходящими—до тех пор, пока меня не стало тошнить от одного взгляда на карты. Чтобы скоротать время, Робинзон принялся рисовать городские и загородные дома: он рисовал роскошный город—резиденцию казаков, он набрасывал их портреты. Я писал стихи, разрабатывал невыполнимые планы бегства, набрасывал планы повестей. Мы флиртовали через окно с кухаркой из еврейского дома внизу; говорили речи толпящимся на улице горожанам; кричали проклятия в окружающий воздух и пели распутные песни; ходили взад и вперед; спали или старались заснуть. И каждый день мы проводили счастливый час, сочиняя оскорбительные послания царю, Думе, Государственному Совету, великому князю, генералу Иванову и его штабу и заставляя казака относить их в штаб.

Рано утром появлялся хозяин—молодой еврей со смуглым, красивым, выразительным лицом, окаймленным шелковистой темной бородкой, в сопровождении подозрительно поглядывающего казака.

— Morgen!—бросал он нам на ломаном немецком языке, как только мы высовывали нос из-под одеял.— Was wollen Sie essen heute? [1]

— А что вы можете дать?—неизменно отвечали мы.

— Яичницу-глазунью, бифштекс, картофель, шницель, хлеб, масло, чай.

Изо дня в день мы брали русско-французский словарь и корпели над ним с хозяином, чтобы изменить свое меню; но он не умел читать по-русски и отказывался понимать, когда мы произносили русские слова. И так мы переходили от яиц к жесткому мясу или телятине, с бесконечным чаем, по крайней мере шесть раз в день. Самовар кипел на балконе под нашим окном, и время от времени один из нас бросался к двери, отталкивал с дороги казака, перевешивался над лестницей и звал:

— Хозяин!

Тогда поднималась беготня обеспокоенных казаков, они начинали звать, отворялись двери, постояльцы высовывали головы, а снизу эхом отзывался крик:

— Что?

— Chai!—приказывали мы.—Dva chai skorrie! (Два чая скорей!).

Мы требовали яиц к утреннему завтраку, но хозяин отказывал.

— Яйца к завтраку, яйца к обеду, но не утром,—спокойно объявлял он.—Яйца за утренним чаем очень нездорово.

Наконец нам удалось объяснить, что мы хотим яичницу с ветчиной. Он в ужасе всплеснул руками.

— Ветчину!—воскликнул он.—Да, ее можно достать, но только гои едят ветчину. Я вам не дам ветчины.

[1] С добрым утром, что вы хотите поесть сегодня? (Прим. ред.).

ПОД АРЕСТОМ В ХОЛМЕ

Сотне кубанских казаков, стоявшей в Холме, только и было дела, что гарцовать на своих лошадях и сторожить нас. Сто полудиких гигантов, увешанных старинными доспехами. Высокие меховые шапки, длинные малиновые, синие или зеленые черкески, стянутые в талии, с косыми патронными карманами по обеим сторонам груди, изогнутые ятаганы, выложенные золотом и серебром, кинжалы с драгоценными камнями, сапоги с острыми, загнутыми кверху носками...

Сначала наблюдение за арестованными развлекало их своей новизной. Днем уже знавшие нас приводили своих приятелей посмотреть. А в промежутках, ночью, те, что не смогли притти днем, шумно вторгались в нашу комнату, зажигали лампу. и будили нас, толкая ножнами.

Они были точно дети-переростки. Некоторые приходили, нервно теребя рукоятку сабли и следя за тем, чтобы мы не оказались за их спиной. Другие—застенчиво и доверчиво, готовые стать друзьями. Эти целыми часами внимательно изучали французско-русский словарь, по складам рассказывая историю своей жизни. В особенности один дружески настроенный казак проводил почти все свое время с Робинзоном, и оба они горестно плакались о своих домах и детях. За эти

восемь дней вся сотня перебывала у нас несколько раз. Они получили свои портреты, с непрестанным любопытством все снова и снова пересматривали наши вещи, щупали материю нашего платья, курили наши папиросы, дивились картинам Робинзона, изображавшим нью-йоркские виды, и бесконечно спорили между собой—действительно ли мы немецкие шпионы. Ни один из них никогда не был в Западной Европе, и они совершенно не знали, что она собой представляет.

Для большинства из них было безразлично—немцы мы или нет, но один жиденький парнишка с злым лицом и светлыми усами обращался с нами, как с пойманным ненавистным врагом. Когда он стоял у нас на часах, он шумно и без стука вваливался в комнату, расправлялся с нашими папиросами и попадавшимися ему под руку деньгами. Иногда, когда я читал, он вырывал книгу из моих рук. Мы прозвали его Иваном. На чистом английском языке мы предлагали ему прекратить это. Он нагло возражал нам по-русски. И так это повторялось изо дня в день.

Как-то раз, войдя к нам, Иван подскочил к столу, сгреб полную горсть папирос и сплюнул на пол.

— Пошел вон, Иван!—закричал Робинзон.

Иван выругался по-русски.

— Убирайся вон, или мы выставим тебя!

Казак стоял спиной ко мне, дверь была открыта. Я неожиданно обхватил его сзади за поясницу и, пробежав вместе с ним до площадки, дал ему пинка. Стуча шашкой и кинжалом, он покатился вниз по ступенькам длинной лестницы. Вскочив на ноги, он с яростным воплем выхватил свою шашку и угрожающе стал подниматься наверх. Робинзон и я держали дверь. Иван

просунул клинок в щель и, злобно мыча, стал махать им. Стоявшие на площадке казаки прислонились к стене и принялись хохотать. В конце концов Иван ушел и никогда больше не показывался у нас...

Три раза в день казаки проезжали верхом по крутой улице около отеля и поворачивали налево. Они дико распевали длинную возбуждающую песнь, похожую на суровый старый гимн. При их приближении мы всегда высовывались из окна, и все они улыбались, проезжая мимо, оборачивались и рукой приветствовали нас,—все, кроме Ивана, который строил свирепые рожи и грозил нам кулаком, на что мы, высовываясь еще ниже, отвечали ему тем же...

Иногда, душным вечером, когда казак, стоявший во дворе, уставал сторожить нас и уходил, мы карабкались из нашего окна на остроконечную крышу и смотрели вниз на железные крыши и переполненные до-нельзя улицы города. К югу поднимались на холме два старинных шпица старой величественной католической церкви—остаток славных дней, когда королем Польши был Понятовский. Внизу, на темной боковой улице стояло большое непомеченное номером здание, в котором находились еврейская синагога и хедер—еврейская религиозная школа,—из этого здания день и ночь неслись неясное гудение учеников, читавших нараспев священные книги, и глубокие голоса равви и реббе, горячо споривших о запутанных вопросах «закона».

Людской поток из России прибывал и затоплял этот город старой Польши. С нашей крыши нам видны были колоссальные военные казармы и учреждения—необъятные постройки в четверть мили длиной, какие встречаются в Петрограде, и восемь церквей, строящихся или

уже построенных, с поднимающимися в небо забавными луковицеобразными башнями красного или синего цвета или же раскрашенными яркими ромбами. Прямо перед нашим окном был «Святой холм». Над роскошным массивом зеленых деревьев, поверх фантастических монастырских башен поднимались шесть золотых куполов; ежевечерне и по праздникам гул больших колоколов таял в веселом перезвоне. С утра до ночи наблюдали мы за священниками, проходившими вверх и вниз по улице,— это были бородатые люди с лицами фанатиков и длинными волнистыми волосами, падавшими им на плечи; одеты они были в серые или черные, ниспадавшие до пят, шелковые рясы. Евреи на тротуарах смиренно уступали им дорогу. Теперь монастырь стал военным госпиталем. Группы девушек в красивых белых головных повязках русского Красного Креста торопливо входили и выходили из огромных ворот, у которых всегда стояли на часах два солдата. Там постоянно толпилась молчаливая кучка людей, с любопытством глазевшая сквозь железную ограду. Иногда можно было слышать протяжный вой сирены, нарастающий и затихающий где-то вдали, и сейчас же вверх по улице бешено проносился автомобиль, полный раненых офицеров. Один раз в большой открытой машине бился огромный человек в руках четырех сестер милосердия, старавшихся его удержать. На месте его живота была окровавленная масса, и он отчаянно кричал всю дорогу в гору, пока деревья не поглотили одновременно и автомобиль и его вопли.

Днем суматоха шумного города заглушала все остальные звуки. Но ночью мы слышали—или, вернее,

чувствовали—сотрясение от гула неприятельских орудий, расположенных милях в двадцати от нас.

Непосредственно перед нашими глазами ежедневно проходила драма еврейской жизни в России. Сторживший нас казак надменно прохаживался по двору расположенного ниже нас дома,—дети далеко обходили его, когда проходили мимо, молодые девушки, приносившие ему стаканы чая, старались улыбаться на его грубые заигрывания, пожилые люди вежливо задерживались, чтобы поговорить с ним, а за его спиной бросали взгляды, полные ненависти. Он расхаживал важно, точно лорд, он, этот покорный раб русской милитаристической машины; они низкопоклонничали и лестью приобретали благосклонность представителя господствующей нации. Мы заметили, что каждые два—три дня все евреи, молодые и старые, прикалывали к груди маленькие бумажные значки. Однажды утром хозяин вошел в нашу комнату с таким значком: это было дешевое изображение царской дочери, великой княжны Татьяны.

— Что это такое?—спросил я, указывая на портрет.

Он с горечью пожал плечами.

— Рожденье великой княжны,—сказал он.

— Но я уже два раза на этой неделе видел, как носили такие же.

— Через каждые два или три дня—рождение великой княжны,—ответил он.—По крайней мере, так говорят казаки. Казаки заставляют каждого еврея покупать такую картинку и носить ее в день рождения великой княжны. Она стоит пять рублей. Мы—только бедные евреи, слишком невежественные, чтобы знать, в какой день бывает рожденье великой княжны. Но казаки—русские, они-то знают.

— А что, если вы откажетесь купить?—спросил я.

Он многозначительно провел пальцем по своему горлу и издал хрипящий звук.

Грязнейшим местом был этот двор, полный отбросов из двух еврейских домов и всем, что постояльцы отеля выбрасывали из своих окон. От улицы отделял его высокий дощатый забор с громадными деревянными воротами, запиравшимися на крепкий засов. Дверь и нижние окна в доме были защищены тяжелыми деревянными ставнями, приделанными изнутри. Это было защитой от погромов. На заборе была прибита косая настилка из планок, по которой весь день со звонким смехом карабкались и съезжали, а порой лежали на животе, уткнувшись носом в забор, чтобы посмотреть на проезжавших мимо казаков, бесчисленные грязные ребятишки. Малыши ревели и возились в грязи на дворе. Из открытых дверей и окон разносился запах кошерной кухни и всякие иные запахи людей, слишком скученных и слишком бедных, чтобы соблюдать чистоту—нечто вроде того, что можно встретить в беднейших кварталах Ист-Сайда в Нью-Йорке.

Но каждую пятницу в полдень, в доме, как и в каждом другом еврейском доме этого города, поднималась всеобщая суматоха—приготовления к субботе. Все женщины надевали свои старые рабочие платья; отбросы убирались со двора, у порога ставились жестяные чаны с горячей водой, из них уносили полные ведра в дом, откуда слышно было, как скребли и подметали щетками, шлепали мокрыми тряпками и ритмично напевали за работой еврейские женщины. Ведра, уже полные грязной воды, выливали обратно в жестяной чан, и когда

его содержимое становилось черно и густо, как суп, приносилась вся семейная утварь—кастрюли, ножи и вилки, глиняная посуда, чашки и стаканы—и мылись там: колодезь был слишком далеко, чтобы тратить лишнюю воду. А после этого дети наполняли себе ведра из чана и мылись в них, в то время как остальные скребли дверные косяки, подоконники и две каменных ступеньки у порога, надрываясь в печальной песне.

Полотно, висевшее на бельевой веревке, было снято. Все маленькие еврейские лавки закрывались рано, и мужчины возвращались домой, идя небольшими дружескими группами, как люди, закончившие свою работу. Каждый из них надевал свой лучший длинный сюртук и ермолку, свои самые блестящие ботинки и выходил, чтобы присоединиться к все увеличивающемуся степенному потоку серьезных, одетых во все черное, людей, катящемуся по направлению к синагоге.

Дома скатывали грязные ковры, открывая белый пол, который всегда бывает покрыт, за исключением только субботы и дней больших религиозных праздников. И, вереницей, женщины, девушки и маленькие дети, смеясь и болтая, в своих лучших платьях выходили на улицу, где уже собирались остальные женщины и дети, чтобы посплетничать и похвастаться своими нарядами.

Из нашего окна был виден угол кухни, сморщенная старуха, присматривавшая за замазанной печью; было слышно бренчанье ключей, которые прятали подальше на праздник, и открывался вид на стол в обеденной комнате, с шеренгой свечей для «свечной молитвы» и субботним хлебом, покрытым салфеткой, с оплетенной бутылкой вина и чашкой.

Мужчины медленно возвращались из синагоги, а когда падали сумерки, вверх и вниз по улице, оживленно беседуя, прогуливались бледные, сверх-утонченные молодые еврейские интеллигенты, обсуждая спорные места «закона».

Члены семьи стояли молча, прижавшись друг к другу, скрывая от нас стол опущенными головами, в то время как над вином произносилась молитва и разрезался священный хлеб,—желтое пламя свеч играло на их оливковой коже и на странных очертаниях их восточных лиц...

После ужина смирно играли дети, неповоротливые в своем субботнем платье, а женщины собирались перед домами. Когда наступала темнота, из каждого окна еврейского дома светился огонь. Мы заглядывали через окна в расположенную на втором этаже длинную простую комнату, пустовавшую в течение всей недели, где теперь собралось несколько мужчин, с громадными книгами, развернутыми перед ними на столе, до поздней ночи распевавших глубокими голосами по-восточному звучавшие псалмы.

В субботу люди с утра шли в синагогу. Это был день многочисленных визитов друг другу целыми семьями, одетыми по-праздничному; день бесконечного обеда, длившегося большую часть дня, с веселыми песнями, которые пелись всей семьей под хлопанье в ладоши; разодетые семейства, вплоть до последнего ребенка, гуляли по дороге, что окружала подножье «Святого холма» и направлялась в открытую равнину... А затем ночь, и распечатанная печь, разостланные ковры, маленький Яков, ноющим тоном повторяющий своему учителю урок, открытые магазины, снова поношенное платье и страх.

Почти каждый день вверх по улице проходила небольшая трагическая процессия и направлялась к тюрьме, расположенной около монастыря: два—три еврея в их характерных длинных одеждах и ермолках брели тяжелой походкой, с лицом, потерявшим всякое выражение, и уныло поникшими плечами. Впереди и сзади них плелись здоровенные солдаты, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками.

Много раз спрашивали мы хозяина об этих людях, но он всегда изображал на своем лице неведение.

— Куда они идут?

— В Сибирь,—бормотал он,—а может быть...—и он жестом показывал, как спускают курок...

Хозяин был на редкость осторожный человек. Но иногда он подолгу стоял в нашей комнате, переводя взгляд с Робинзона на меня и обратно, как будто у него было многое что сказать, если бы он только смел. В конце концов он качал головой, вздыхал и уходил мимо бдительного казака, набожно прикасаясь к бумажке с молитвой, приколотой к косяку двери.

Мы так и не получили ответа на наши ультиматуры, и офицер со стриженной головой больше не приходил к нам,—такая это была неприятная задача—отвечать на наши доводы! Казаки также предавались где-то более занимательному времяпрепровождению, хотя они и не переставали приветствовать нас криками, когда проезжали мимо нашего окна. Так что в конце концов мы видели только хозяина, стоявшего на часах казака и двух кривлявшихся безобразных польских служанок—Фред и Анни—которых хозяин недокармливал и заставлял надрываться в работе.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПЛЕНУ

Однажды в комнату с шумными поклонами вошел почтальон в блестящей форме, в сопровождении нескольких приятелей, с телеграммой от американского посла.

«Вы были арестованы, так как вступили в военную зону, не имея на то соответствующего разрешения. Министерство иностранных дел извещает наше посольство, что вы будете отправлены в Петроград».

И все. Нас снова окружила тишина, и внешний мир снова исчез из нашего кругозора. Мрачные монотонные дни следовали один за другим. Мы были забыты.

И, наконец, через несколько ночей раздалось позвякивание шпор и легкий стук в дверь. Два офицера торжественно продефилировали в комнату; один из них — тучный, потный, маленький — отрекомендовался Ивановым, квартирмейстером юго-западного фронта, кузеном генерала, другой—тощий, плешивый эпилептик с высохшей рукой и множеством орденов—поручиком Потемкиным. Его мускулы и тело подергивались в чем-то вроде пляски св. Витта; он заговорил, и спустя некоторое время мы разобрали, что изъясняется он на каком-то неведомом английском наречии. Смысл его слов был тот, что мы свободны.

— Мы можем вернуться в Бухарест?

— Да, джентльмены.

— Как мы сможем попасть на фронт?

— Что он говорит? Что он говорит?—допытывался квартирмейстер пискливым голосом. Потемкин перевел, и оба громко расхохотались.

— Я советую вам,—сказал, заикаясь, Потемкин (он был похож на говорящий скелет),—я советую вам ехать в Петроград и просить через вашего посланника великого князя о помиловании. Да, это дипломатическое дело,—он резко дернул головой.

Мы с Робинзоном обсудили положение: может быть, если мы поедем в Петроград, мы сможем наконец побывать на русском фронте.

— Если вы поедете, генерал-квартирмейстер даст документы,—продолжал Потемкин.

Мы последовали за ним, он вернул нам наши паспорта, письма, пропуска и подозрительный список еврейских граждан. Мы просили пропуск в Петроград, чтобы нас не арестовали. Он сказал, что этого не нужно, что никто нас больше не арестует. Тем не менее, по нашему настоянию, он выдал нам пропуск. И наше счастье, что мы получили его, иначе мы были бы арестованы по меньшей мере двадцать раз.

Когда я приехал в отель, мистер Джордж Т. Мэрэй, американский посол, аккуратный маленький человечек в очках, с седыми усами, сидел за завтраком.

— М-р Рид,—сказал он сухим трескучим голосом,—я очень рад видеть вас в Петрограде. Вы доставили посольству очень много беспокойств, очень много! Теперь, м-р Рид, я не желаю возобновлять разговор о вашем неблаговидном поведении, но мой лучший совет

вам — покинуть Россию немедленно и кратчайшим путем.

— Покинуть Россию,—произнес я, весьма удивленный,—зачем?

— Почему?—ответил он с раздражением.—Это совершенно ясно. Вас прислали сюда под конвоем...

— Вовсе нет,—возразил я,—нас отпустили и сказали, что мы можем вернуться в Бухарест.

— Бухарест?—недоверчиво произнес он.—Но я уведомлен из министерства иностранных дел, что вас должны доставить сюда под конвоем и выслать из России. Если же это не так, я все-таки советую вам выехать из этой страны как можно скорее.

— Но что же я сделал?

— Депеши, которые я получил из министерства иностранных дел относительно вас, м-р Рид, были очень тревожны—положительно очень тревожны. Офицеры, которые обыскивали вас на фронте, донесли, что они нашли у вас фальшивый паспорт и рекомендательные письма к лидерам еврейского антирусского революционного общества. Сверх того вы вступили в русскую военную зону, не имея соответствующих разрешений.

— Но мой паспорт был выдан в Вашингтоне,—возразил я,—и у меня не было никаких писем к евреям каких-либо партий. Все мои бумаги мне вернули в Холме—они со мной, если желаете их видеть. Что же касается вступления в военную зону без разрешения, то у меня были пропуска от двух русских генералов, от генерал-губернатора Галиции, письмо от князя Трубецкого и поручение от американского посланника в Бухаресте.

М-р Мэрэй бросил на меня взгляд крайнего недоверия.

— Хорошо, м-р Рид,—холодно сказал он,—но ваше объяснение положительно не согласуется с утверждением русского правительства.

А случилось вот что: офицеры, арестовавшие нас в Холме, были весьма смущены, увидав наши пропуска. Незадолго перед этим немецкие шпионы деятельно работали в этой местности, и этим офицерам влетело за это. Они чувствовали, что им необходимо поймать каких-нибудь немецких шпионов. Мы явились козлами отпущения. Список еврейско-американских граждан показался подозрительным человеку, который рассматривал наши бумаги, и, кроме того, не понимая по-английски, он не мог прочесть наших документов. Может быть также, в холмском штабе нашел, что проявили чрезмерное усердие, и испугались, что придется отвечать за то, что держали под арестом англичанина и американца. Кто-нибудь выдумал это дикое обвинение и послал его великому князю, надеясь, что таким образом покончат с нами. Русские имеют обыкновение так работать.

Факт тот, как мы узнали впоследствии, что нас решено было расстрелять в Холме. Но американский и английский послы настояли, чтобы нас переслали в Петроград...

На следующий день я отправился в американское посольство узнать, как обстоят дела. Первый секретарь дал мне понять, что я налгал, так как мои объяснения и объяснения министерства иностранных дел не совпадали.

— Я думаю,—сказал он,—что вы будете высланы через Стокгольм или Владивосток. По-моему, вам лучше спокойно ожидать в отеле.

— Но посол посоветовал мне самому уехать отсюда.

— И не пробуйте уезжать,—многозначительно сказал он,—ни в коем случае.

— Но мне надо вернуться в Бухарест!—воскликнул я.—Разве посольство допустит, чтобы нас выслали через Стокгольм или Владивосток из-за каких-то ложных обвинений?

Он холодно ответил, что посольство ничего не может сделать.

В британском посольстве, куда я пошел вместе с Робинзоном, первый секретарь только рассмеялся.

— Это положительно смешно,—сказал он.—Само собой, они не могут выслать вас из России. Опишите всю эту историю, и мы поступим сообразно в а ш е м у изложению фактов. Если м-р Рид пожелает, то мы будем рады оградить также и его.

Через два часа из британского посольства была отправлена нота в министерство иностранных дел, заверяющая наши документы и гарантирующая невинность наших поступков.

Спустя некоторое время я снова встретился с м-ром Мэрэй в вестибюле отеля.

— Как, м-р Рид,—сурово произнес он,—вы все еще в России?

— Ваш первый секретарь приказал мне ни под каким видом не уезжать отсюда.

— Так он сказал?—произнес неуверенно посол.—Но я предпочел бы не видеть вас в этой стране, м-р Рид. Ваше дело—большая забота для меня!

В России все делается очень медленно и необычайно странно. Три недели спустя пришло распоряжение в оба посольства: что мистеры Рид и Робинзон могут оставаться в России, сколько им будет угодно, но, когда они будут уезжать, они должны покинуть страну через Владивосток.

— Ничего нельзя было сделать, ничего,—сказал м-р Мэрэй,—но я поговорю с Сазоновым.

Секретарь британского посольства был в высшей степени возмущен.

— Не уступайте,—говорил он,—посол сам немедленно заявит свой протест м-ру Сазонову.

Сэр Джордж Бьюкэнэн, британский посол, считал все это дело пустяком. В тот же день он говорил с министром иностранных дел.

— Я нахожу, что ваши люди очень недальновидны,—сказал сэр Джордж,—эти корреспонденты оказали союзникам неоцененные услуги в американской прессе. Они приехали в Россию, чтобы писать о здешних делах благожелательным образом. Вы просто создадите предубеждение в Америке против России.

— Все равно,—сказал Сазонов,—с их стороны было очень наивно въезжать в Россию таким образом.

— Они не более наивны, чем ваши собственные военные власти,—возразил сэр Джордж.

Через неделю м-р Мэрэй встретил меня в вестибюле и дружески протянул руку.

— Ну, м-р Рид,—сказал он, улыбаясь,—как идут ваши дела?

— Я думал, вы похлопотали о моих делах, м-р Мэрэй,—отвечал я.—Говорили вы с м-ром Сазоновым?

— Я имел дружескую беседу с м-ром Сазоновым. Он меня уверил, что ничего нельзя сделать. Запомните, м-р Рид, что я не буду виноват, если вы попадете в неприятное положение. Вспомните, что я откровенно советовал вам сразу уехать из России, я и теперь советую вам сделать то же—через Владивосток.

Десять дней спустя мы попытались бежать. Взяткой в тридцать пять рублей мы убедили петроградскую полицию поставить на наши паспорта официальный штамп: «Разрешен проезд через границу», и однажды вечером мы вышли, переменили несколько раз извозчиков и выехали поездом на Киев и Бухарест. Но на следующее утро, в Вильно, в наше купэ вошел улыбающийся жандармский офицер и разбудил нас.

— Тысяча извинений,—сказал он, не спрашивая, кто мы и куда едем.—Я имею приказ по телеграфу попросить вас сойти здесь с поезда, вернуться в Петроград и немедленно оставить Россию через Владивосток.

Обратный путь в Петроград занял полтора дня. Мы попали в свой отель только после того, как два офицера из охранного отделения установили нашу личность и отправили на допрос в штаб.

Довольно странно, что там ничего не знали о нашей попытке бежать. Начальник—угрюмый распухший человек с злым лицом—прочел нам приказ, только что полученный от его высочества великого князя. Он был датирован тремя днями раньше—кануном нашего побега. В нем было сказано:

«М-ру Бордману Робинзону, британскому подданному, и м-ру Джону Риду, американскому гражданину, настоящим предписывается выехать из Петрограда через Владивосток в двадцать четыре часа по получении сего приказа; в случае неисполнения они будут преданы военному суду и сурово наказаны».

— Сурово наказаны?—спросил Робинзон.—А если нас оправдают?

— Вы будете сурово наказаны,—деревянным голосом ответил начальник.

Между тем, наш переводчик смотрел расписание поездов на Владивосток в течение ближайших двадцати четырех часов. Поезда не было! К тому же у нас вышли деньги. Но все это начальника не интересовало, он настаивал на том, что мы должны уехать, есть поезд или нет, есть у нас деньги или нет.

В сопровождении целой своры сыщиков, разнообразно замаскированных, мы поспешили в наши посольства.

М-р Мэрэй отказался меня принять и выслал вместо себя м-ра Уайта, второго секретаря.

— Мы не можем помочь вам деньгами, м-р Рид,—холодно сказал он.—Но, мне кажется, у американского консула есть фонд для неимущих американцев.

В отчаянии я объяснил ему, что мы получили приказ выехать во Владивосток в течение двадцати четырех часов и что такого поезда нет. Он равнодушно ответил, что сомневается, чтобы можно было что-нибудь сделать. Я бросился на поиски Робинзона.

К счастью, британское посольство хлопотало за нас обоих. Посол телеграфировал британскому атташе при штабе великого князя, чтобы он переговорил с «его высочеством». Кроме того, сэр Джордж отправился

лично в министерство иностранных дел и протестовал от имени своего правительства. Министр иностранных дел телеграфировал великому князю, прося отменить приказ, и по телефону отдал распоряжение сыскной полиции прекратить слежку за нами.

Час спустя начальник полиции извинился перед нами по телефону и сообщил, что его люди отозваны.

На следующий день в отель явился штабной офицер и в почтительных выражениях передал нам бумагу от адъютанта великого князя, уведомляющую, что приказ о нашей высылке отменен, и что мы можем отправиться в Бухарест, когда пожелаем.

Мы не стали ждать и выехали с первым же поездом на юг, боясь, как бы кто-нибудь не передумал.

Офицер пограничной стражи отвел нас в угол станции и приставил к нам четырех солдат, которые перерыли наш багаж, распарывали наши бумажники и подкладку нашего платья и ловко раздели нас в присутствии других пассажиров.

Они конфисковали все мои бумаги и заметки и эскизы Робинзона. Но когда мы перебрались через границу и очутились на нейтральной земле, это показалось небольшой платой за освобождение от грубых лап русской армии.

ЛИЦО РОССИИ

Кто не путешествовал по ширококолейной русской железной дороге, тот не знает восхитительных удобств огромных вагонов, в полтора раза больших по ширине, чем американские, слишком длинных и просторных коек, таких высоких потолков, что можно стоять на верхней полке. Поезд идет плавно покачиваясь и не спеша, его тащит паровоз, отапливаемый дровами и изрыгающий сладковатый березовый дым и дождь искр, он подолгу останавливается на маленьких станциях, где всегда есть хороший ресторан. На каждой остановке лакеи проносят через поезд подносы со стаканами чая, бутербродами, пирожным и папиросами. Там нет определенных часов для прихода поезда, нет установленного времени для еды и спанья. Часто во время путешествия я видел, как в полночь прицепляли вагон-ресторан, и все шли туда обедать и сидели за бесконечными разговорами до тех пор, пока не наступала пора завтракать. Один достает постельное белье у проводника и раздевается на глазах у всех пассажиров своего купэ, другие ложатся на голые матрацы, а остальные усаживаются пить неизменный чай и вести нескончаемые споры. Окна и двери закрыты. Можно задохнуться в густом табачном дыму; с верхней полки раздается храп и беспрестанная возня влезающих наверх, укладывающихся спать, снующих туда и обратно.

В России каждый говорит о своей душе. Почти всякий разговор мог бы быть взят со страниц романов Достоевского. Русские пьянеют от разговоров; голоса звенят, глаза блестят, они приходят в экзальтацию от страстного самообличения. В Петрограде я видал переполненное к двум часам ночи кафэ,—разумеется, ничего спиртного там не было,—люди галдели, пели и толкались у столиков, совершенно опьяненные идеями.

За окнами поезда проносилась удивительная страна, плоская, как стол; часами тянулся вдоль полотна вековой лес, не тронутый топором, таинственный и мрачный. У края деревьев пробегает пыльный проселок, по которому порой с трудом продвигается тяжелая телега, с лошадью в грубой сбруе, с возвышающейся деревянной дугой, на которой болтается медный колокольчик; возница—широкоплечий «мужик» с грубым лицом, заросшим волосами. В нескольких часах пути, среди первобытных лесов, плешиной раскинуты маленькие, крытые соломой поселки, построенные из необделанных бревен, вокруг деревянных церквей с их пестро раскрашенными куполами и казенных винных лавок—теперь закрытых—пожалуй, самого претенциозного здания в деревне. Деревянные тротуары на сваях, похожие на аллеи немощеные улицы, потонувшие в грязи, необъятные поленницы дров, предназначенных на топку паровозов. Здоровенные женщины с ослепительно-белыми зубами и в весело-раскрашенных платках, повязанных вокруг головы; обутые в сапоги рослые мужчины в картузах и с бакенбардами, и священники в длинных черных рясах и шляпах с полями, похожих на печные трубы. На платформах постоянно маячат высокие жандармы в желтых рубахах, с алыми револьверными шнурами и шашками.

Солдаты везде, разумеется, десятками тысяч... А потом из-за лесов внезапно вырываются громадные поля, простирающиеся до далекого горизонта, тяжелые золотистыми хлебами, с торчащими среди них черными пнями.

Русские, мне кажется, не так патриотичны, как другие народы. Царское правительство—бюрократия—не внушает массам доверия, оно как бы другая нация, сидящая на шее русского народа. Как общее правило, они не знают, как выглядит их флаг, а если и знают, то он не символизирует для них Россию. И русский национальный гимн, это—гимн, полумистическая большая песнь, но никто не чувствует необходимости встать и снять шапку, когда его исполняют. Что касается населения, то в нем нет империалистических чувств, они не хотят сделать Россию большой страной путем захвата и, пожалуй, не замечают существования остального мира за пределами своей родины. Поэтому-то русские и дерутся так плохо при захвате неприятельской страны. Но раз только неприятель появляется на русской земле, они хорошо дерутся, защищаясь.

У русских подобное древним грекам восприятие земли, широких плоских равнин, дремучих лесов, могучих рек, потрясающего небесного свода, что простирается над Россией.

Однажды в одном с нами купэ ехал молодой офицер. Весь день он пристально смотрел через окно на темные леса, на обширные поля, маленькие города, и слезы катились у него по щекам.

— Великая мать Россия! Великая мать Россия!—без конца повторял он...

В другой раз мы встретили средних лет штатского, с крепкой обритой головой и большими мерцавшими

светло-голубыми глазами, придававшими ему мистический вид.

— Мы, русские, не знаем, как мы велики,—говорил он.—Мы не можем проникнуться мыслью, что столько миллионов людей общаются здесь между собой. Мы не представляем себе, как много у нас земли, как много у нас богатств. Да что, я могу вам назвать Юсупова из Москвы, который владеет таким количеством земли, что не всю ее знает, чьи имения больше, чем территория любого германского княжества. И никто из русских не знает, сколько народов объято нашей страной. Я сам знаю только тридцать девять...

Однако, этот безграничный хаос варварских народностей, в течение целых столетий тупевших от угнетения, пользовавшихся лишь простейшими средствами сообщения, не имевших представления о каком-либо идеале,—развернулся в глубокое национальное единство чувств и мыслей, в своеобразную цивилизацию, которая распространяет теперь свое собственное могущество. Свободная, непринужденная и сильная, она овладевает жизнью разбросанных вдали диких племен Азии, она проникает через границы в Румынию, Галицию, Восточную Пруссию, несмотря на организованные усилия остановить ее. Даже англичан, которые обычно упрямо придерживаются своего образа жизни во всех странах и при всяких условиях, одолела Россия—английские колонии в Москве и Петрограде стали полурусскими. И она овладевает мыслями людей потому, что это наиболее простой и наиболее непринужденный путь жизни. Русские выдумки веселее всех других, русские мысли наисвободнейшие, русское искусство наиболее богатое, русская еда и питье, на мой вкус, самые лучшие, а сами

русские, быть может, самые интересные среди всех человеческих существ.

У них есть чувство пространства и времени, которое свойственно только им. В Америке мы являемся обладателями обширнейшей страны, но живем мы, словно она—переполненный остров, наподобие Англии, откуда пришла наша цивилизация. Наши улицы узки, и города наши тесны. Мы живем в давящих друг друга домах, в квартирах, нагроможденных друг на друга. Каждая семья—замкнутая в себе клеточка, центростремительная и узко обособленная. Россия тоже обширная страна, но люди живут там, зная, что это действительно так. В Петрограде некоторые улицы достигают четверти мили в ширину, и там есть огромные площади и здания, у которых фасад тянется непрерывно чуть не на полмилю. Дома всегда открыты, и люди постоянно, в любое время дня и ночи, навещают друг друга. Еда, чай, беседы текут нескончаемо; каждый поступает так, как ему нравится, и говорит именно то, что хочет. Там совершенно нет определенного времени для пробуждения и сна или для обеда, и нет там раз навсегда установленного способа убивать или любить. Большинством людей романы Достоевского читаются как хроника сумасшедшего дома, но это, мне кажется, потому, что русские не стеснены теми традициями и условностями, которые управляют общественным поведением остального мира.

И это верно не только для больших городов, но и для маленьких городков, и, пожалуй, в той же мере для деревень. Русского крестьянина невозможно научить пользоваться часами. Он так близок к земле, настолько является частью ее, что указанное механизмом

время для него ничто. Но ему приходится быть регулярным, иначе он не соберет урожая, так что пашет он и сеет и жнет в дождь, ветер и снег, во все времена года—и живет он по солнцу, луне и звездам. Раз крестьянин принужден итти в город для работы на заводе, он теряет непосредственную связь с природой, и когда он задумывается о необходимости иметь фабричные часы, для него уж нет больше никакого смысла в регулярной жизни.

Мы видали кое-что из жизни русских домов. Без конца шумят самовары, снует прислуга, доливая воду и заваривая новый чай, пересмеиваясь и присоединяясь к постоянной общей болтовне. Приходят и уходят непрерывным потоком и родственники, и друзья, и различные знакомые. Всегда там есть чай, всегда столик у стены, заставленный закусками, всегда несколько небольших компаний, рассказывающих разные истории, громогласно спорящих, беспрерывно смеющихся, всегда маленькие партии карточных игроков. Еда появляется, когда кто-нибудь захочет есть, или, вернее, идет беспрестанная еда. Одни идут спать, другие встают после долгого сна и садятся завтракать. Днем и ночью никогда это не прекращается.

А в Петрограде мы знали некоторых людей, которые принимали гостей от одиннадцати часов вечера и до рассвета. Затем они ложились спать и не вставали до вечера. За три года они не видали солнечного света, кроме летних белых ночей. Много интересных типов прошло перед нами. Среди них старик-еврей, на несколько лет купивший у полиции право жительства, который поведал нам, что написал историю русской политической мысли в пяти томах. Четыре тома было отпечатано, но

все они регулярно конфисковались после выхода, теперь он выпускал пятый. Он всегда громогласно рассуждал на политические темы, время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть в окно—не прислушивается ли какой-нибудь полицейский, так как он был уже однажды в тюрьме за произнесение слова «социализм». Перед тем, как начинать говорить, он отводил нас обычно в угол и шопотом условливался, что когда он будет произносить «маргаритка», это будет означать «социализм», а когда он будет говорить «мак», это значит «революция». И тогда он приступал, меряя большими шагами комнату и выкрикивая всякие разрушительные теории.

Ибо до сих пор еще жива Россия мелодрамы и английских популярных журналов. Помню, как на перроне станции, где остановился наш поезд, я увидел арестованных. Они толпились на путях: два или три молодых «мужика» с тупыми лицами и остриженными волосами, полуслепой сгорбленный старик, похожий на еврея, и несколько женщин, одна почти девочка, с ребенком на руках. Вокруг них кольцо полицейских с обнаженными шашками.

— Куда их гонят?—спросил я кондуктора.

— В Сибирь,—прошептал он.

— За что?

— Не задавайте вопросов,—нервно отозвался он.—Если вы задаете в России такие вопросы—с вами случится то же самое.

В Петрограде было несколько нелепых военных распоряжений. Если вы говорили по-немецки по телефону, вы облагались штрафом в три тысячи рублей, а если кто-нибудь замечал, как вы разговаривали по-немецки

на улице, то наказанием была Сибирь. Я слышал из вполне достоверного источника о двух профессорах восточных языков, которые, гуляя по Морской, разговаривали друг с другом на древне-армянском языке. Они были арестованы, и полицейские показали, что язык этот был немецкий.

Однако, несмотря на это, факт остается фактом—любой немец с деньгами мог жить, сколько ему угодно, в Петрограде или Москве и проявлять свой патриотизм, как ему вздумается. Например, большая немецкая колония в Москве давала, в ноябре 1914 года, обед в шикарнейшем отеле, во время которого распевали немецкие песни, произносили на немецком языке речи, посылавшие в преисподнюю царя и его союзников, и крики «Hoch der Kaiser!» потрясали воздух. Так или иначе, ничего не было предпринято по этому поводу. Но шестью месяцами позже полиция решила проучить их, не выдавая в то же время себя, с тем, чтобы подорвать их германские доходы. Откуда-то было раздобыто изрядное количество водки, из церквей вынесли иконы, и подстрекаемая полицией толпа начала громить немецкие дома, магазины и отели. После того как некоторые из таких домов были разгромлены, люди обратили внимание и на французские, и на английские, и русские владения. Раздались крики:

— Долой богатых! Довольно спекулировать на наши деньги!

Прежде чем кончился погром, почти все большие московские магазины были разбиты и разграблены; многих состоятельных русских, и мужчин и женщин, повытаскивали из автомобилей и экипажей и побросали в воду. Русские из высших классов не преминули

поднажиться на этом деле. Они приказывали своим слугам и лакеям броситься в свалку и забрать столько шелка, кружев и мехов, сколько они смогут унести на своих плечах... В результате этой патриотической демонстрации градоначальник, губернатор и полицмейстер были уволены со службы.

Другой характерный для российских методов случай— как германцы были окончательно выселены из Москвы. Их сослали? Посадили в концентрационный лагерь? Нет. Полиция неофициально уведомила их о том, что если живущие в Москве немцы хотят покинуть Россию, то для этого есть возможность. В Москве, говорили они, германцу немыслимо получить паспорт для возвращения на родину, но если поехать в Пермскую губернию, что на пороге Сибири, у основания Уральских гор, то там можно хлопотать о паспорте и получить разрешение на выезд. Сотни германцев поняли намек и облепили поезда, отправлявшиеся по направлению к Перми. Они и до сих пор еще там...

В России есть четыре вида тайной полиции, и главная задача ее заключается в наблюдении за регулярной полицией и в том, чтобы шпионить друг за другом, кроме того есть еще дворники, исполняющие обязанности консьержа, которые все состоят на правительственной секретной службе. Во времена, подобные, например, нынешним, достаточно простого подозрения, чтобы попасть под военный суд или быть сосланным в Сибирь, если только вы не пользуетесь влиянием.

После нашего ареста в Польше, когда мы добрались до Петрограда, нас выслеживали полицейские сыщики, агенты военной контр-разведки и грозной «охранки»— злейшей, наисекретнейшей полиции из всех остальных.

Но русских сыщиков легко распознать. Какова бы ни была его личина, будь он «рабочим», «мужиком», «извозчиком» или «нищим», он неизменнно обут в лакированные ботинки и помахивает тросточкой с серебряным набалдашником. Маленькая кучка их постоянно стояла против дверей нашего отеля, и в долгие скучные вечера мы часто побрасывали в них бутылками. Если мы садились на извозчика, чтобы ехать в американское посольство, из группы отделялся кто-нибудь из сыщиков и на другом извозчике следовал за нами. А когда мы спускались на Невский, мы останавливались и ждали, пока он завернет за угол, что он делал быстрым шагом, думая, что мы уже далеко, и тогда уже мы следовали за ним целыми часами, к его вящему огорчению.

Из России невозможно выехать без «заграничной визы», поставленной на ваш паспорт городской полицией и разрешающей вам пересечь границу. Мы были, разумеется, под наблюдением городской полиции, но, несмотря на это, за тридцатипятирублевую взятку мы достали заграничные визы и сели в поезд, шедший к румынской границе. Следующим утром, в Вильно, в наше купэ вошел жандармский офицер и, не спрашивая, ни кто мы такие, ни куда мы едем, заявил, что мы должны вернуться в Петроград. Там нас уже ждали тайные агенты охранки, которые препроводили нас в Главный Штаб. Но начальник не знал, что мы добыли заграничную визу, и даже того, что мы пытались скрыться. Он просто хотел прочесть нам решительный приказ великого князя, по которому мы высылались из России через Владивосток за мнимое преступление.

В нашем отеле в Петрограде жила коренастая, здоровая, похожая на эскимоску, женщина с жесткими

волосами, подрезанными как лохматая грива шотландского пони. Звали ее княгиня N. Перед вечером она обычно приходила в чайную комнату, выбирала по своему вкусу мужчину и помахивала своим огромным дверным ключом, просто и откровенно приглашая его к себе. Русских это не коробило, но отель был полон американскими коммерсантами и их женами, и они обратились к управляющему по поводу этого неприличия. Управляющий приказал княгине выехать из отеля. Она отказалась. И вот, в истинно-русском духе, однажды, когда ее не было дома, он взял и вытащил из ее комнаты постель и остальные ее вещи. Вернувшись в гостиницу, она несколько часов бегала из конца в конец по коридору, обзывая его всевозможными именами, которые только могла придумать. Затем она ушла. Через пятнадцать минут подкатил на автомобиле чиновник тайной полиции, обрушился на управляющего и довел до его сведения, что если он еще хоть один раз побеспокоит эту женщину, он попадет в Сибирь. Княгиня оказалась агентом охранки...

НАЦИОНАЛЬНАЯ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

От Залещиков до Тарнополя кроме нас в купэ никого не было. За перегородкой сидели какие-то офицеры. Движимый русским любопытством и русским гостеприимством, оттуда вошел к нам капитан, говоривший немного по-французски. Он представился нам и с первых же слов начал выбалтывать все секретные военные сведения, какие только знал: где стоит его полк, сколько в нем штыков, как предполагали, пользуясь темнотой, перебросить его через Прут и напасть врасплох на расположение австрийских батарей. Это не было нескромностью с его стороны—просто не было ничего занятного в том, чтобы говорить людям о вещах, которые они уже знали. Но он весьма обрадовался, что встретившиеся ему иностранцы заинтересовались, как ему казалось, его болтовней. Он позвал нас в свое купэ. Там сидело несколько полковников и капитанов. В глаза бросались их коротко остриженные головы, ярко начищенные сапоги и темные гимнастерки, сверкавшие знаками отличия. Портупеи были отстегнуты, и сабли висели на стене. Окна в купэ были закрыты. На маленьком деревянном столике кипел пузатый самовар и стояла фанерная коробка с папиросами, рассыпавшимися по столику. Они курили, пили чай и отводили душу. При нашем приближении офицеры посторонились и, угощая нас чаем и папиросами,

стали нетерпеливо расспрашивать нас о нас самих, о наших делах, о том, сколько мы получаем жалованья, много ли пьют в Америке виски, так ли жарко в Ньюпорте, как на Ривьере, и что мы думаем о войне. Потом эта необычная для нас беседа возобновилась на ломаном французском и немецком языках—повидимому, в знак внимания к нам.

Каждый рассказал о своем первом половом опыте. От этого они перешли к обсуждению психологии пола, его отношения к творческой энергии, той власти, которую он имеет над жизнью людей...

Только к вечеру мы раскусили своих соседей. Это была комиссия офицеров, посланная генералом Дмитриевым, чтобы разыскать пропавшие где-то семнадцать миллионов мешков муки. А семнадцать миллионов мешков муки, если их сложить вместе, не уступят по своей величине среднему городу. И все-таки они исчезли.

Кажется, русское правительство закупило и отправило всю эту муку для довольствия юго-восточных армий на целый год. Мука была погружена из Киева на Тарнополь,—расстояние двести тридцать верст, при чем линия железной дороги пересекается другими путями только в двух местах. И все-таки где-то на этом пространстве больше тридцати поездов, груженных мукой, как сквозь землю провалились.

— Но куда же они могли деться?—спросил я.

Седой полковник с улыбкой пожал плечами.

— У нас есть основания думать,—сказал он,—что она была продана румынам, а оттуда переправлена в Австрию.

Он вздохнул.

— Такие вещи случаются...

Взяточничество в России доходит до таких удивительных размеров, что принимает характер гротеска.

Во время японской войны французское правительство послало русской армии пятьдесят батарей семидесятимиллиметровых орудий Крезо. Они были зарегистрированы при переправе через границу, но, удивительное дело, официально они никогда не прибыли в Россию. Шесть месяцев спустя французский атташе в Бразилии сообщил своему правительству, что там находятся несколько полевых семидесятипятимиллиметровых орудий Крезо. Во Франции недоумевали, так как каждое орудие, выходящее с завода Крезо, регистрируется, и никогда ни одного орудия бразильской армии не продавалось. Сверив номера, удалось, однако, выяснить, что это те самые орудия, которые были отправлены в Россию в 1905 году.

Один представитель России в иностранной судостроительной компании рассказал мне историю с военным судном, постройку которого он сам планировал и предложил русскому правительству. Планы были приняты, уже закупались материалы, и в Одессу нагнали целую армию рабочих. Через некоторое время оттуда сообщили, что военное судно готово к спуску на воду. Одесский губернатор лично раскупорил по этому случаю бутылку шампанского, и месяц спустя судно было отправлено в пробный рейс. Затем пришли известия о гибели этого военного судна где-то в волнах Черного моря. Кое-кто заинтересовался этим делом. Было назначено следствие, которое установило, что в о о б щ е н и к а к о г о в о е н н о г о с у д н а и н е с т р о и л о с ь.

В 1909 году один французский генерал, представленный царю, был приглашен «его величеством» осмотреть

грандиозные военные укрепления, только что отстроенные под Варшавой по последнему слову техники. Военный губернатор, к которому он обратился, уверил его, что в Польше очень неспокойно и осматривать укрепления без порядочной военной охраны весьма рискованно, отрядить же солдат для этого он сейчас не может. После долгих пререканий с губернатором, пускавшимся на различные увертки, французский генерал потерял терпение и отправился осматривать укрепления один. Там оказалось пустое место...

В самый критический момент русского отступления, летом 1915 года, когда целые дивизии гибли от недостатка снарядов, я встретил одного англичанина, прибывшего в Россию за три месяца до этого с пароходом, груженным снарядами. Он сказал, что они лежат еще в Архангельске, так как он не дал взятки на железной дороге и в артиллерийском управлении, чтобы их отправили на фронт...

Один французский фабрикант взял в Москве подряд на изготовление нескольких миллионов снарядов для русской артиллерии. Немало груженных ими вагонов было отправлено на фронт. И лишь когда они прибыли туда, было обнаружено, что они не подходят к русским пушкам. Их оставили на месте при отступления, и немцы воспользовались ими со значительным успехом. Допрошенный следственной комиссией, француз предъявил чертежи снарядов, утвержденные военным министром Сухомлиновым.

Говорят, что до войны Сухомлинов был совсем беден. Но после того, как разразилась катастрофа, он начал покупать в Петрограде дома и порядочные участки земли. В городе совершенно открыто говорили, что он

попросту продавал немцам военные тайны. Позже, под давлением множества подозрений, он вышел в отставку. Тяжесть этих подозрений еще усугублялась тем, что он был одним из вождей реакционеров.

Я был в Петрограде, когда один полковник обратился в контору одного моего приятеля, продававшего автомобильные шины. У полковника было пятьдесят санитарных автомобилей, которые как раз в то время чрезвычайно были нужны на фронте. Он попросил моего друга осмотреть их и сказать, сколько будет стоить поставить на них новые шины. Продавец назвал цену.

— А что я буду иметь с этого?—спросил полковник.

— Обычные десять процентов.

— Ладно, валите.

Они вышли, и мой приятель осмотрел автомобили.

— Не понимаю,—сказал он,—вам вовсе не нужны новые шины. Эти еще совсем не изношены.

— Это не ваше дело,—огрызнулся полковник,—ставьте новые и держите язык за зубами, если хотите соблюсти свою выгоду.

Американские коммерсанты, поставщики русского правительства, имели нескончаемые истории с безобразной жадностью русских интендантов. На качество товара никто не смотрел, зато неизменно спрашивали: «Сколько я получу?» Во многих случаях, когда фирма не могла дать большой взятки, русские интенданты сами повышали цены для своего правительства.

Предположим, что вы продаете грузовик. Он был на пробе перед комиссией, которая дала секретный отзыв о нем одному из чиновников интендантского управления. Тот вызывает вас для «консультации» к себе. Теперь, за небольшую взятку в двадцать—тридцать долларов,

вы узнаете, что ваш автомобиль получил хороший отзыв или что он получит такой отзыв, если вы дадите такую же взятку остальным членам комиссии.

Когда вы войдете к чиновнику интендантства, он вам скажет: «Ваш автомобиль весьма хвалят. Но у нас есть еще и другие предложения. Мне нужно знать ваши условия». Здесь он посмотрит на часы. «Простите, мне нужно тут на минутку, я сейчас. Да не хотите ли закурить?»—и, протягивая вам свой портсигар, он оставит вас одного. Может быть, вы откроете портсигар и увидите, что он пуст. И если вы уже давно в России, вы вытащите из кармана пятисотрублевую бумажку и положите в портсигар. Когда офицер вернется, вы услышите: «Теперь о цене. Сколько я получу комиссионных?»

Вы уговариваетесь с ним так, чтобы он не остался в обиде, и он попросит вас подождать его ответа.

Но все это, разумеется, игра в темную. Кто-нибудь другой мог ведь положить тысячерублевую бумажку в его портсигар...

Были, конечно, и другие пути уведомления предусмотрительных продавцов о том, что им следует быть подобрее. У каждой гостиницы, например, где проживали американцы, вечно шныряли профессиональные «жучки», указывавшие, кого из чиновников надо «подмазать».

Но дела эти велись столь открыто и с такой жадностью, что, несмотря на все старания сыскной полиции смотреть на них сквозь пальцы, не проходило дня, чтобы она не наталкивалась на какую-нибудь грандиозную мошенническую комбинацию. Скандал за скандалом показали, что интендантство было не чем иным, как сборищем жуликов. Однако, следы всегда заводили так высоко, что дела приходилось прекращать. И князья,

и бароны, и финансисты, и армейские офицеры, и министры—у всех рыльце было в пушку. Даже великий князь Сергей, начальник артиллерийского управления, и тот был заподозрен; поговаривали также и о других членах царской фамилии.

В конце концов на банки был наложен арест, и вскрытие сейфов дало достаточно документов, чтобы окончательно уличить всю бюрократию. Люди, облеченные властью и занимавшие высокие посты, были в один прекрасный день смещены.

Случалось так, что вы приходите в интендантство повидать какого-нибудь чиновника, с которым вы говорили всего три часа тому назад, и находите на его месте нового человека.

— Где полковник В.?—спрашиваете вы.

Иногда новый служащий ответит коротко: «Сибирь», иногда пожмет плечами, а иногда зажжет спичку, даст ей немного погореть и затем изящно задует ее...

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Всякий путешествовавший по России во время войны сразу замечал коммерческую зависимость России от Германии. В Петрограде я хотел купить антисептическую зубную пасту.

— А! Все такого рода препараты присылались из Германии, теперь мы не можем достать их,—ответил провизор, сам, между прочим, немец.

То же самое с фотографическими аппаратами, с пленками, молочным шоколадом, с платьем, автомобилями, пишущими машинками. В Петрограде не было даже ни одного хорошего хирурга, ни одного врача, который был бы специалистом по кишечным заболеваниям. Ответом было: «Мы всегда отсылали с такими случаями в Берлин».

За последние десять лет Россия все больше и больше становилась германской коммерческой колонией. Каждое затруднение, испытываемое Россией, использовалось Германией для увеличения торговых прибылей своего государства. Так, например, в 1905 году германцы получили громадные привилегии. Они втирались в правительственные места и даже в военные учреждения. Они диктовали планы русских стратегических дорог на германской границе. И при императорском дворе, при содействии царицы—сама она немка—они пользовались злым и могущественным влиянием.

Русские купцы, фабриканты и банкиры долго и с горечью боролись против германских происков в своей стране, что сделало их врагами развращенного и тиранического русского правительства, связанного с германцами, и друзьями революционеров. Так что в этой войне русский пролетариат и средний класс—оба настроены весьма патриотично и оба в оппозиции к правительству. Чтобы представить себе сегодняшнюю Россию, надо понять парадокс, что вести войну с германцами—это значит вести войну с русской бюрократией.

Когда я был в России, в июне, внутренняя борьба обострялась с каждым днем. Даже в высших кругах правительства существовала обширная организация, предававшая Россию неприятелю. В печной трубе самого Зимнего дворца была найдена тайная радио-станция, которая перехватывала военные правительственные сообщения и передавала их в Германию. Кроме скандала с Сухомлиновым, было еще дело генерала Маздеева, [1] который совершал удачные дела по экспортированию планов русских крепостей, пока, наконец, кто-то не поднял шума.

После сражения под Танненбергом генерал Ренненкампф с горечью обвинял своих же офицеров в том, что они его продали, и в России говорят, что это было одной из причин отстранения его от командования. Говорят, что то же самое послужило одной из причин, почему великий князь Николай был переведен на Кавказ, во всяком случае его резкая критика немцев,

[1] Вероятно, Джон Рид имеет в виду дело полковника Мясоедова. (Прим. ред.).

находящихся при царском дворе и в правительстве, была притчей во языцех.

Как относится царь ко всему этому? Чем больше слышишь о нем в России, тем более фантастическим и легендарным он представляется. Я знал в Петрограде одного американца-предсказателя, который сказал мне, что он друг императора, и в доказательство этого показал мне большой платиновый портсигар, украшенный выпуклыми царскими монограммами, в бриллиантах и с золотым барельефом растопыренной руки. Это, сказал он, подарил ему царь в награду за его труды по предсказанию падения Варшавы. В течение недели перед этим событием царь три раза приглашал его в Царское Село, чтобы он прочел императорскую ладонь и предсказал по ее линиям—будет ли Варшава взята германцами. Хиромант,—а он читал газеты,—сказал, что будет. И она была взята.

Люди, говорившие с царем, уверяли меня, что кроме того, что ему случалось слышать от своих реакционных советчиков, он очень мало знал о том, что творится в стране.

У предсказателя было много курьезных встреч с царским двором. Он рассказывал, например, что несколько лет тому назад его неожиданно пригласили из Вены в Севастополь и повезли на стоявшую в порту императорскую яхту. Там он увидел сборище хирургов, гомеопатов, чудодеев и разного рода шарлатанов со всех концов Европы. Они были собраны для спасения жизни молодого царевича, раненного в бедро революционным матросом. Это, говорил предсказатель, и послужило основанием для всех последующих россказней о таинственных болезнях царевича. Он порассказал также

кое-что о Распутине, этом светском монахе, злополучной фигуре, чье влияние на царицу, как говорили, было столь пагубно и столь глубоко. Предсказатель показал мне до-нельзя неразборчивые каракули, написанные на плохом французском языке, которые он получил на предыдущей неделе; там было написано приблизительно следующее:

«Отец Григорий Распутин просит меня уведомить вас, что он осведомлен о ваших посещениях Царского Села. Он не возражает против ваших встреч с императором, но если вас пригласит императрица и вы будете у нее, ваше дальнейшее пребывание в России будет грозить вам большими неприятностями».

Предположим, что эти рассказы могут оказаться неправдой, но они не более нелепы, чем другие детали из жизни этой восточной иерархии, и не более невозможны, чем всем известные посещения многими членами Думы этого же самого предсказателя, с просьбой прочитать на их ладонях грядущие политические события.

В неизвестности, под поверхностью обширного беспокойного моря русской жизни, устремляются в разные стороны мощные течения: богоискательство, революции, религиозное сектантство и потрясающие народные волнения. Они всегда существуют подспудно и лишь изредка вырываются на свет, где их можно видеть и судить. Великая революция 1905 года прорвала поверхность, а на пороге этой войны, начавшись гигантской всеобщей забастовкой, готова была разразиться новая революция. Ее резкие призывы потонули в шуме мобилизации и в варварской лживости императорских манифестов, в обещаниях царя согласиться на более либеральное правительство, дать автономию Польше

и произвести реформы. Может быть, мобилизация подавила революционеров больше, чем манифесты, так как не только не были исполнены обещания императорского манифеста 1905 года, но в некоторых других отношениях дела обстояли хуже, чем когда-либо. Дума продолжала существовать, но, путем изменения законов о ней и использования полиции для терроризирования провинциальных выборщиков, правительство обкорнало все ее тяжело добытые прерогативы. Была обещана свобода печати, но во время процесса Бейлиса большую газету «Русское Слово» оштрафовали на тысячу рублей за помещение отчетов о судебных заседаниях. А это богатый и влиятельный орган. Другие же периодические издания вовсе ничего не смогли напечатать. Была обещана свобода слова, но для публичного собрания необходимо иметь разрешение полиции, а полиция в России не очень-то уступчива. Была обещана свобода вероисповеданий и свобода совести, но недавно министр внутренних дел закрыл в Петрограде униатскую католическую церковь на том основании, что она будто бы нарушила правила постройки. Была гарантирована неприкосновенность личности и право передвижения, но никогда не было так много сосланных в Сибирь, даже без всякого обвинения против них, как теперь.

Перед лицом массового разложения казенного интендантства, Земский Союз взял на себя дело снабжения правительства продовольствием для армии—задачу, которую он выполняет с большим уменьем. Это—значительное явление, так как Союз представляет большей частью средний русский класс.

Все это время Дума, ограниченная попрежнему, становилась все более и более смелой в своей критике.

Один оратор, например, говорил, что правительство в России неспособное, взяточническое и предательское. Указывал на выдающихся взяточников и изменников и намекал на то, куда ведут их следы; было внесено предложение возложить на думские комиссии в союзе с земством закупку продовольствия, а также и производство военного снаряжения. Кроме всего этого, наблюдалось быстро растущее народное недовольство, заявлявшее о себе по всей стране. Это было недовольство патриотов, стремившихся к военной победе России.

Восьмого сентября царь заместил великого князя Николая в командовании западным фронтом. Люди отнеслись к этому как к очень сомнительному шагу и ломали себе головы над тем, что бы мог он означать, так как великий князь был по крайней мере честен, а царь вызвал в свою ставку на фронт Сухомлинова, которому не доверяли. Один выдающийся русский генерал уверял, что это означало, что царь склонялся к заключению сепаратного мира. Во всяком случае послы стран согласия в течение трех недель пытались отговорить «его величество» от принятия на себя командования.

Удивительная молва, распространившаяся преимущественно среди интеллигенции, утверждала, что принять командование торопил царя Распутин, который соответственным образом истолковывал свои «божественные видения». Это вполне возможно.

Пятнадцатого сентября, в Петрограде, тридцать тысяч рабочих Путиловского военного завода объявили забастовку, а на следующий день по углам улиц появились приказы, запрещающие рабочим собираться толпами. Члены иностранных колоний, получив секретную

информацию из военного министерства, начали поспешно покидать Россию. На следующее утро передавали, что тридцать рабочих Путиловского завода, подавших пятнадцатого числа петицию Думе, сосланы в Сибирь вместе со своими семьями. Вслед за этим разразились волнения, солдаты стреляли по забастовщикам, и в этот же самый день царь внезапно распустил Думу. В Петрограде было известно, что все члены кабинета недовольны роспуском, за исключением только реакционного премьера Горемыкина. К этому времени был объявлен приказ о призыве под знамена новых войск, только увеличивший всеобщее недовольство,—и восемнадцатого числа появились объявления, грозившие забастовщикам, если они не встанут на работу в ближайший вторник и если они не будут подчиняться приказам, отправкой их в окопы или заключением на неопределенное время в сибирские тюрьмы.

В течение этих дней судорожные забастовки на железных дорогах вызвали в Петрограде недостаток продовольствия и дров. Среди населения началась жестокая нужда. Разразилась эпидемия холеры. Каждый день газеты публиковали длинный список умерших, объясняя его, для смягчения, «смертью от желудочных заболеваний», а правительственные газеты объявили, что в течение зимы не будет ощущаться недостатка в муке.

Двадцатого пришли известия о забастовках в Киеве, Одессе и других городах и о полной остановке трамваев и электрической станции в Москве. Земский Союз и Союз Городов послали непосредственно к царю комиссию, угрожая поддержать революцию, если он не согласится на более либеральное правительство, и провозглашая абсолютную необходимость либерального,

ответственного перед Думой министерства. Царь отказался принять делегацию.

Горит ли в недрах России могущественное и разрушительное пламя, или оно затушено? Суровая цензура и умалчивание о внутренних событиях чрезвычайно затрудняют ответ на это. Но даже после отсрочки созыва Думы произошли массовые увольнения из интендантства и полная военная реорганизация западного фронта, а теперь, когда я пишу эти строки, какая-то могущественная спокойная угроза, выявившаяся пока еще довольно смутно, заставила царя с императорской пышностью вновь открыть Думу. А Борис Штюрмер, новый премьер, худший тип реакционера, заверил Думу, что «даже во время войны должна итти работа по внутренней реорганизации».

В белорусском городе Ровно я беседовал с молодым вольноопределяющимся, служившим до войны в петроградском банке. Революция 1905 года,—объяснял он,—вовсе не была революций. Это был гигантский скандал. Это было инстинктивное возмущение миллионов человеческих существ против грабежа и угнетения, которые были поистине невероятны.

— Все это позади,—поспешно промолвил он, так как сам он принадлежал к правящему классу.—Но,—прибавил он,—после этой войны мы попросим новую конституцию.

— А что, если вам ее не дадут?—спросил я.—Будет революция?

— О! Я думаю, нам дадут ее. Но если нет, так что же—нам придется добиться ее.

ПЕТРОГРАД И МОСКВА

Большинство путешественников говорят о Москве как о сердце России, истинно-русском городе, и, отказывая в этом Петрограду, называют его имитацией других европейских столиц. Но, что касается меня, Петроград кажется мне более характерным для России, с его необъятными фасадами правительственных учреждений и казарм, тянущимися, насколько хватает глаза, просторными улицами, величественными открытыми площадями. Огромные каменные набережные вдоль Невы, дворцы, соборы и величественные проспекты, выложенные камнем, вырастали под руками бесчисленных крепостных, прикованных к болоту волей тирана, и скреплялись их кровью. Ибо там, где сейчас на многие мили распростерся Петроград, этот город, построенный для гигантов, полтораста лет тому назад не было ничего кроме лихорадочной топи. И там, где, разумеется, не было проложено дорог, в самой пустынной местности, наиболее уязвимой и наиболее отдаленной от всех естественных центров Русской империи, Петр Великий по прихоти своей основал столицу. При постройке Петрограда в продолжение десяти лет ежегодно гибло от лихорадки, холода и болезней до двадцати тысяч рабочих. Девять раз сама придворная знать замышляла разрушить ненавистный город и заставить двор

вернуться в Москву. Трижды поджигали они его, и трижды царь вешал виновников на воротах дворцов, которые он заставлял строить.

Повсюду через город проходят, изгибаясь, громадные глубокие каналы угрюмой воды, а по ним двигаются обширные, в сотни футов длиной, деревянные баржи, высоко нагруженные готовыми березовыми дровами. Эти дрова срублены звенящими топорами в мрачных вековых лесах и сплавлены вниз по мелким пустынным рекам, в лучах северного сияния, под звуки медленных, печальных бурлацких песен.

И каждую ночь бросается в темную воду множество несчастных бедняков. Тела их проносятся течением около угрюмых бесконечных казарм, скользят по трубам, проложенным под улицами, и плывут по широкой Неве к морю, вдоль этого пышного ряда желтых и варварски-красных дворцов, этих фантастических куполов, шпицев и гигантских памятников.

Люди теряются на огромных безмолвных площадях и широких улицах; несмотря на свои два с лишним миллиона населения, Петроград кажется бесконечно пустым. Только летними вечерами, с чувством неукротимой силы, подобной морю, в громадных увеселительных садах, среди открытых сцен, американских гор, каруселей и кафэ, прохаживаются непринужденно сотни тысяч кричащего, смеющегося и поющего народа, продвигаясь огромными массами и потоками.

Лишь во время революции или в дни какого-нибудь большого празднества, когда люди на целые мили запружают от стены до стены громадные улицы, топот не в ногу идущей толпы, гул ее нестройного пенья,

мощь самопроизвольного стремления толпы превращают в карлика даже этот огромный город.

К ночи—тогда был июнь—солнце садилось все медленней и медленней. В девять часов было так же светло, как у нас дома летним вечером; в половине одиннадцатого солнце коснулось горизонта и медленно двинулось вокруг него от запада к востоку, и так до половины третьего, когда оно снова начало подниматься. Если случалось просыпаться в полночь, невозможно было определить, была ли это ночь или день—особенно потому, что у русских нет, повидимому, определенного времени, когда они ложатся спать. За нашим окном на Исакиевской площади посиживали на скамейках люди, читая газеты, присаживались у домовых ворот дворники, путаясь в своих шубах и сплетничая, проезжали мимо извозчики, по тротуарам ходили люди, и даже были открыты магазины.

Иногда мы выезжали. «Istvosschik»—кричал я, стоя посредине улицы. И немедленно появлялось двадцать или тридцать маленьких пролеток, управлявшихся косматыми личностями, увенчанными глянцовитыми колообразными шляпками с загнутыми краями, и с таким количеством подложенной под одежду ваты, точно они хотели казаться чудовищно толстыми. Кружась около нас, они оглушительно вопили, сбавляя друг перед другом цену. Для извозчиков существовала городская такса, экземпляр которой был прибит к задней стороне извозчичьих козел, но вам приходилось платить по крайней мере в два раза больше указанной в ней цены.

Мы блуждали по городу в бесконечных сумерках. Перед казармами маленькая плотная толпа окружала

какого-то солдата, подпрыгивавшего и отбрыкивавшего на согнутых коленях деревенский танец, может быть, сибирский, под задыхающийся рев гармошки.

На Исакиевской площади шагавшая на ученье команда молодых рекрутов, обутых в топотавшие громадные ботинки, орала традиционные армейские ответы на генеральское приветствие.

— Здорово, молодцы!—кричал высокий ровный голос.

— Здравия желаем, ваше с-ство!—ревела в один голос сотня здоровяков.

— Поздравляю вас, ребята!

— Рады стараться, ваше с-ство!

Раза три или четыре в день звонари на тяжелых куполах Исакиевского собора набрасывали петлями на свои локти, колени, ступни и руки веревки от колоколов, и все громадные и маленькие колокола начинали гудеть и перезванивать—тридцать пять их—в диком, неистовом диссонансе:

— Тонг! тонг! Тиинг! тинг-а-танг-тонг! Бумм! Бом-тик-а-тинг-тингль-ингль-бумм! Танг-тонг-тинг-а-танкль-тонгль-бумм-танг-тингль-тик-тик-а-бом!

Мимо проходили сотни и тысячи новых рекрутов, все еще в своей крестьянской одежде, с большими номерами, помеченными мелом на их спинах. Им, казалось, не было конца. День за днем, неделю за неделей вливались они в Петроград, и вливали их так уже больше года, чтобы грубо втиснуть затем в военную форму, погрузить в бесконечные поезда и небрежно швырнуть на запад или юг, чтобы, истребив несметное число их, задавить ужасную германскую машину... И все-таки повсюду на улицах и по всей России я видел множество крепких мужчин, еще не призванных под знамена.

Москва, нежно именуемая всеми русскими «матушка Москва», столица умственной жизни и последняя твердыня старого великолепия варварской России. Московские улицы узки, и ее городские стены теснятся одна над другой вокруг священной цитадели, которая повествует всю историю страны. Но биение пульса России, ее красная возрождающая кровь и поток перемен оставили Москву.

Однако, ее старинная и богатая торговля, которая в средние века в Европе сделала легендарными княжеских купцов-московитян, все еще растет. Сразу же бросается в глаза множество построек в стиле германской архитектуры.

Ширина и размах и небрежная рассеянность в человеческой жизни, столь характерные для Петрограда, на войне и, кажется мне, для всей России, снова появляются в Кремле, где в продолжение тысячелетия концентрировались чаяния, страстные желания и вера русских людей. Красная площадь столь же велика, как любая площадь в новой столице, но гораздо древнее. Гигантские красные стены с зубцами поверху, увенчанные фантастическими башнями с пробитыми в них воротами, во мраке которых висят громадные сверкающие иконы,—широко спускаются вниз с холма и идут вдоль берега реки, гордо описывая самый сказочно-богатый капитолий на свете. Внутри, на площади, на сотню шагов друг от друга стоят четыре собора, и в каждом из них перед алтарем царские врата из чистого золота и драгоценные камни, сверкающие из длинного ряда царских гробниц, в облаках синего ладана, клубящегося к потолку, выложенному чудовищной мозаикой. Тянется кверху Иван Великий с прорезями, в виде сотов, для

огромных колоколов. Здания дворцов, разбросанных в разных направлениях, комнаты в которых выложены тяжелыми плитами и уставлены колоннами из редких камней—императорский тронный зал, за тронным залом пестрые, полудикие покои, в которых жил Иван Грозный, и сокровищница, в которой стоят персидский трон, и золотой трон татар, и алмазный трон царей. Монастыри, казармы, старинные арсеналы, вдоль которых уставлены тысячи орудий, оставленных Наполеоном по дороге из Москвы; громадный колокол Бориса Годунова, треснувший и лежащий на земле; Царь-пушка, слишком большая, чтобы на что-нибудь годиться, и выход через Спасские ворота, в котором стоит на часах солдат, следящий за тем, чтобы прохожие снимали шапки перед иконой...

В воскресенье мы сели на катер и поехали вверх по реке к Воробьевым горам, стоя на которых, Наполеон наблюдал московский пожар. Вдоль реки купались прямо с берега люди, группы мужчин и женщин, и повсюду на холмах кишело невероятное количество праздного люда. Купальщики лежали, растянувшись на траве, бегали вперегонки, ходили большими ватагами с песнями между деревьев, а в маленьких ложбинках и на ровных местах раздавался дикий топот танцев под неуклюжие взвизгивания гармошек. Попадались там пьяные, разглагольствовавшие перед многочисленными слушателями или спавшие без сознания, с зажатыми в руках бутылками, и калеки, и юродивые, провожаемые смехом толпы, точно на средневековой ярмарке. Какая-то старуха в лохмотьях и с растрепавшимися по лицу волосами, хромая, спускалась с холма, подняв над головой руки со сжатыми кулаками, и истерически

кричала. Мужчина и девушка с плачем колотили друг друга кулаками. На пригорке, заложив руки за спину, стоял скромно одетый человек, произносивший, очевидно, речь тревожно разлившимся под ним толпам. В воздухе чувствовалось отчаяние и мрачность, точно что-то должно было произойти...

Долго сидели мы в кафэ на вершине холма, глядя на равнину, по которой река делала широкий поворот, в то время как солнце склонялось к западу за бесчисленными колокольнями и куполами золотого, зеленого, синего, розового и пестрых цветов четырехсот московских церквей. И когда мы сидели там, издалека слабо и несвязно донесся до нас скачущий перезвон бесчисленных колоколов, вызванивавших ритм, заключавший в себе всю глубокую торжественность и сумасшедшую веселость России.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

НА ПУТИ К «ГОРОДУ ИМПЕРАТОРОВ»

На прекрасных огромных спальных вагонах были прибиты медные надписи узорными турецкими буквами и по-французски: «Orient Express» (Восточный Экспресс), самый замечательный поезд на свете, который в доисторические дни, перед войной, пробегал из Парижа прямо к Золотому Рогу. На болгарской дощечке значилось «Царьград», то-есть «Город Императоров», русские так же называют эту восточную столицу, которую все славяне считают своей по праву. А германская надпись напыщенно возвещала: «Берлин—Константинополь»,—надменное пророчество тех дней, когда константинопольский поезд не заходил на запад дальше Софии и путь через Сербию еще не был открыт.

Мы находились в международной компании: три английских офицера в походной форме, назначенные в Дедеагач; французский инженер, направлявшийся по делам в Филиппополь; болгарский военный чиновник, ехавший на обсуждение статей договора с Турцией; школьный учитель, возвращавшийся в Бургас; американский табачник, совершавший коммерческое турнэ по турецким черноморским портам; черный евнух в феске и балахоне, сверкавшем поверх его обширных бедер и трясущихся колен; венская танцовщица из мюзик-холла со своим партнером, приглашенные в кафешантан на Пера; два делегата венгерского Красного Креста и около

ста человек разных немцев. Был там особый вагон, полный старших крупповских оружейных мастеров, посланных на турецкие военные заводы, и два купэ, предназначенных для экипажа подводной лодки, ехавшего на смену команде «U—54»—мальчики лет семнадцати—восемнадцати. А в соседнем со мной купэ не переставая играли в бридж семь высокопоставленных пруссаков: правительственные чиновники, коммерсанты и ученые, ехавшие в Константинополь, чтобы занять посты в посольстве, в Режи, в «Оттоманском Банке» и в турецких университетах. Каждый из них был важным винтиком, точно пригнанным соответственно своему назначению в удивительной германской машине, уже начавшей работать для создания тевтонской восточной империи.

Нам сопутствовала едкая ирония жизни нейтральных стран. Забавно было наблюдать, как старая привычка космополитического существования брала верх над всеми этими пассажирами. Какой-то железнодорожный кассир с чувством юмора свел в одном купэ двух англичан с несколькими германскими посольскими служащими—они были безукоризненно вежливы друг с другом. Француз и другой британец непринужденно подсели к красивому австрийцу, и все вместе смеялись, вспоминая юношеские студенческие дни в Вене. Поздно вечером в коридоре я застал одного из германских дипломатов, болтавшего с русским учителем о Москве. Все эти люди активно участвовали в войне—на линии огня, так сказать,—за исключением русского,—а он, конечно, будучи славянином, был без предрассудков...

Но наутро англичане, француз и русский слезли,—место забвения ненависти и границ осталось позади, и мы неслись по угрюмой Турецкой империи.

Мелководная, сонная, желтая река Марица, окаймленная гигантскими ивами, вьется по бесплодной долине. Громоздятся сухие, темные холмы, голые склоны которых лишены зелени; плоские равнины, потрескавшиеся под скудной выжженной травой; в изнеможении лежали разбросанные нивы; тут и там подымаются на сваях крытые помосты, на которых сидят, поджав под себя ноги, женщины в черных чадрах, с ружьями на коленях, чтобы отпугивать ворон. Изредка деревни,— несчастные хижины, слепленные из глины и крытые грязной соломой, группируются вокруг здания мечети и жалкого минарета. К западу рассыпаны по склону холма развалины крытого красной черепицей городка, безмолвного и покинутого со времен болгарской бомбардировки 1912 года, когда были снесены башенки двух минаретов. Разбитые остатки минаретов стояли особняком на опустошенном пространстве, отмечая место некогда существовавшей деревни или городка, следы которого теперь совершенно исчезли—так скоро эфемерные постройки турок вновь становятся прахом; но минареты стояли, так как освященные мечети разрушать запрещено.

Иногда мы останавливались на какой-нибудь небольшой станции. Группа хижин, минарет, населенные бараки и ряды глиняных кирпичей, обжигавшихся на солнце. Пестрые раскрашенные арбы на высоких колесах стояли в ожидании пассажиров. Шесть—семь покрытых чадрой женщин набивались порой в одну из них, задергивали занавеску, чтобы укрыться от любопытных взглядов, и, пересмеиваясь, уносились с шумом и бренчаньем в облаках золотистой пыли. Босые

деревенские ханум,[1] одетые во все бледно-зеленое, брели гуськом вдоль дороги, неся голых детей и кокетливо спуская чадры перед окнами поезда. У платформы были навалены яркие груды дынь, доставленные из внутренних областей: приторные сахарные зеленые и желтые дыни, которые пахнут, как цветы, и по вкусу не имеют себе ничего равного на свете. У станции старое дерево бросает изумрудную тень на крошечное кафэ, где старые деревенские турки в тюрбанах и туфлях сидели степенно за кофе и нэргилэ.[2]

Вдоль железнодорожной линии стояли на часах пожилые сгорбленные турки, негодные на передовые позиции—босые, в лохмотьях, вооруженные заржавленными кремневыми мушкетами и опоясанные патронташами с мягкими свинцовыми пулями, еще более древними, чем они сами. Когда мы проезжали мимо них, они делали патетические усилия принять военную осанку. Но вот в Адрианополе мы увидали впервые регулярных турецких солдат в их одинаковой военной форме цвета хаки, в крагах и в мягких шлемах германского образца, которые похожи на арабские тюрбаны и спускаются так низко на лоб, что магометанин может молиться, не снимая его. Они кажутся людьми добродушными, серьезными и медлительными.

Молодой крепкий пруссак, севший в Адрианополе, был им прямой противоположностью. Он был в военной форме «бея» турецкой армии, в большой шапке из коричневого каракуля, украшенной золотым

[1] Ханум — по-турецки — женщина.
[2] Нэргилэ — кальян.

(Прим. ред.).

полумесяцем, с лентой «железного креста» и турецким орденом Гамидие на груди. Его покрытое рубцами лицо казалось нагло-угрожающим, и он топал, как лошадь, расхаживая по коридору, бормоча время от времени: «Gottverdammte Dummheit! Какая глупость!» Первым делом, как только он ввалился, он пристально посмотрел кругом и пролаял что-то по-турецки двум оборванным старым железнодорожным сторожам, переругивавшимся друг с другом на перроне.

— Чабук! Скорее!—выпалил он.—Свиное отродье, поторапливайся, когда я зову!

В испуге они быстро подбежали к нему. Он осмотрел их с головы до ног и скорчил гримасу; затем разразился отборной руганью. Оба старика отошли и, повернувшись, четко замаршировали назад, стараясь воспроизвести гусиный шаг и отдачу чести по прусскому образцу. Снова он оскорбительно заорал на них, и снова они с оробелым видом повторили маневр. И смешно, и жалко было наблюдать эту картину.

— Gott in Himmel!—закричал он, ни к кому в частности не обращаясь и потрясая в воздухе кулаками.— Видали вы таких скотов? Еще раз! Еще раз! Чабук! Бегом, чорт вас побери!

Тем временем другие солдаты и крестьяне отошли от поезда и стояли кучкой поодаль, кротко наблюдая этот удивительный человеческий феномен... Внезапно от толпы отделился маленький турецкий капрал; он подошел прямо к пруссаку, отдал честь и заговорил. Тот, сверкнув глазами, покраснел до корней волос, вены вздулись на его шее, он приблизил свой нос к носу маленького человека и заорал на него.

— Бей эффенди... [1]—начал капрал.—Бей эффенди...— снова попытался он объясниться. Но «бей» краснел все гуще, наступал все решительней и, наконец, размахнувшись, по доброму, старому прусскому обычаю, ударил его по лицу. Турок попятился, а затем встал совершенно неподвижно, уставившись без всякого выражения в глаза офицеру, в то время как на щеке его выступил красный отпечаток руки. Почти неуловимое, едва слышное дуновение ропота пронеслось по толпе, наблюдавшей эту сцену...

Всю вторую половину дня мы ползли по выжженной солнцем земле. Тихий, горячий воздух был тяжел, будто от дыханья бесчисленных поколений смерти. Сонная пелена смягчала вдали очертания. Жидкие посевы хлебов, разбросанные клочки земли, засаженные дынями, пыльные ивы вокруг деревенских колодцев,— вот и вся растительность. Изредка попадалось сельское гумно, на котором медлительные волы таскали по желтому хлебу тяжелые сани, полные смеющейся, галдящей молодежи. А однажды поле нашего зрения пересек колыхавшийся караван тяжело переступавших верблюдов, привязанных один к другому, с горбов которых свешивались громадные запыленные тюки; трое правивших мальчишек забавлялись с ними. На мили и мили ни одного живого существа и даже никакого следа человеческой жизни, за исключением развалин старых городов, покинутых с тех пор, как поредевшее население ушло в недалекую отсюда Малую Азию.

[1] Эффенди — по-турецки — господин. (Прим. ред.).

Однако, эта область всегда была так же пуста и безлюдна, как и теперь; даже в могущественнейшие годы Византийской империи считалось разумной политикой сохранять бесплодную пустыню между столицей и селениями беспокойных варваров.

Теперь мы проезжали мимо воинских эшелонов. Английские подводные лодки парализовали в Мраморном море водный транспорт на Галлиполи, так что солдаты переезжали теперь по железной дороге до Бургас-Кале, а затем маршировали до Булаира. В двери вагона высовывались темные, простые лица. Оттуда до нас беспрерывно доносилось гнусавое пение дрожащих голосов под аккомпанемент резких звуков труб и барабанов. Другой вагон был полон арабами из пустыни на восток от Алеппо, одетых в просторные серые и коричневые бурнусы; их сухощавые суровые лица с дикими глазами стали еще напряженней от окружающей их гнетущей тесноты.

В Чаталдже лихорадочная деятельность. Маленькие поезда узкоколейной железной дороги, груженные орудиями и стальными бронями для траншей; груды инструментов, разбросанные вдоль складок холмов, и голые темные откосы, кишащие массой крошечных фигурок, работавших над постройкой траншей, на случай предполагаемого болгарского вторжения...

Солнце село за нашей спиной, согрев на мгновенье золотистым оттенком необозримые пустынные пространства. Внезапно спустилась ночь, безлунная ночь, осыпанная звездами. Мы двигались все медленней и медленней, бесконечно ожидая на разъездах, пока мимо нас не пронесется с визгом и пением воинский поезд...

К полночи я заснул и проснулся через несколько часов оттого, что один из немцев тряс меня.

— Константинополь,—сказал он.

Я заметил темные очертания гигантской стены, когда мы с ревом проносились через неровную брешь. Направо внезапно скрылись полуразрушенные зубцы византийского мола, открывая море, обрамленное рябью волн у железнодорожной пристани. По другую сторону тянулись ряды высоких некрашеных деревянных домов, дряхло льнувших друг к другу над темными пастями узких улиц и громоздившихся хаотическими массами беспорядочных крыш по поднимающемуся холму старого города. Над всем этим внезапно возникли при свете звезд величественный купол грандиозной мечети, минареты, протянувшиеся к небу подобно громадным копьям, разбросанные массы деревьев на мысе Серай, с проблесками отвесной черной стены, некогда защищавшей расположенный на горе греческий акрополь, смутные формы киосков, ряд заостренных печных труб императорских кухонь и широкая плоская крыша дворца Старого Серай—Истамбул, жемчужины мира.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПРИ НЕМЦАХ

Ровно в четыре часа утра по турецкому времени (или три минуты десятого по-европейски), в день чихаршенби игирми утч, месяца Темуз, года хегира бин утч отуз утч, я проснулся от невероятного рева, сплетавшегося из тысячи самых разнообразных шумов: неясного шарканья миллионов туфель по камням, криков, то пронзительных, то сиплых возгласов уличных разносчиков, гнусавых воплей муэдзина, почему-то призывавшего к молитве в этот необычный час, завывания собак, крика ослов и бормотанья зубрящих коран во дворах мечетей учеников.

Со своего балкона я смотрел на крыши высоких греческих зданий, робко прижавшихся к крутым окраинам Пера и переходящих в темную пену бесчисленных турецких домиков, сбегающих по долине Кассим-Паши, теснящихся вокруг чистенькой белой мечети и двух стройных минаретов, мелькающих среди волн густой зелени. Эти домики—сплошь деревянные, лишь изредка их покрывает старая красная черепичная крыша; выцветшее дерево некрашеных стен отливает тусклым фиолетовым цветом; они столпились там, где их бросил каприз строителя, нанизанные на целый лабиринт узких извилистых уличек, испещренные маленькими окошечками, позлащенными запутавшимися в них солнечными

лучами. За долиной они карабкаются вверх по холму, громоздясь под всевозможными углами,—точно куча детских кубиков,—с горящими на солнце стеклами. На севере четко рисуется сверкающая белизной мечеть Пиале-Паши с ее минаретом, стремящимся ввысь из самого купола,—не даром ее строитель, великий Капитан-Паша, сломивший морское господство Венеции в XVI столетии, построил этот минарет так, чтобы он походил на мачту корабля. По этой самой долине Магомет-Завоеватель протащил свои корабли, переправив их через высокий кряж, на котором теперь стоит Пера, и пустил их затем в Золотой Рог. Направо виднеется обтрепанная греческая церковь св. Димитрия; вдоль по хребту над долиной Кассим-Паши тянется темная линия кипарисов, окаймляющая пустынное поле Ок-Майдана, белые камни которого хранят памятные выстрелы великих султанов—мастеров по стрельбе из лука; высоты Хаскиой с темными деревянными домами, почти черными от дождей и непогоды, где в тревожные дни находили убежище армянские денежные магнаты, и где теперь, в невероятной грязи, живут евреи; дальше к северу, за мощными скатами оголенного холма, видно безлесное, тесно усеянное могилами еврейское кладбище, мрачное, как разрушенный город.

На западе расстилается Золотой Рог, загибаясь и суживаясь к востоку. Он кажется листом расплавленной меди, на котором черной краской выгравированы яхта султана и яхта египетского хедива—с синими сфинксами, нарисованными на носу; пароход «Генерал», служащий отелем германским офицерам; разоруженные второразрядные крейсера—гордость турецкого флота; маленький крейсер «Гамидие», кишащий крошечными

точками—немецкими матросами в фесках; и, наконец, бесчисленные стаи носящихся взад и вперед каиков, похожих на водяных жуков.

Солнце заливает потоками весь Стамбул, начиная со сгрудившихся в кучу домишек на сваях, переходя на запутанные узоры маленьких переплетающихся крыш, за которыми трудно следить самому зоркому глазу, и сияя на зубчатом гребне, вздымающемся, как музыкальная мелодия, над его семью холмами, там, где купола великих мечетей сверкают в синем небе, посылая ввысь свои копьеподобные минареты.

Я мог видеть конец внутреннего моста, упирающегося в Стамбул, и уголок торгового порта с его мешаниной судов, захваченных в начале войны. За мостом находится Фанар, где патриарх, который все еще подписывается как «епископ Нового Рима», живет в своем дворце, бывшем в течение столетий могучим источником жизни и смерти для миллионов «рум-милети»,—Фанар, убежище императорских семей после падения Византии, родина купцов, денежных магнатов, удивлявших Европу Ренессанса своим богатством и дурным вкусом,—Фанар, бывший в течение пятисот лет средоточием греческой расы во времена турецкого владычества. Дальше—Балата—Палациум римлян—и Айван-Серай, сумрачным силуэтом рисуются широко раскинутые развалины византийских дворцов, где стены Эммануила Комнена выступают из воды и теряются в городе. А там Эюб—священное селенье мертвецов и могил, расположенных вокруг ослепительно-белой мечети, в которую не смеет войти ни один христианин, и бесконечная темная масса кипарисов святейшего из всех кладбищ, взбирающаяся по крутому холму.

Греческие и римские стены; острия четырехсот минаретов; мечети, построенные на королевские сокровища в минуту честолюбивой вспышки, овладевшей сердцем великолепного султана; другие мечети, бывшие христианскими храмами при императрице Ирине, стены которых из порфира и алебастра—мозаика, побеленная сверху, просвечивает роскошью золота и пурпура; фрагменты арок и колонн из цветных камней, на которых когда-то стояли золотые статуи императоров, и наконец, величественно вырисовываясь над горизонтом, двойные арки увенчанного деревьями акведука.

Швейцар отеля был ловкий итальянец с нюхом по части «чаевых». Он почтительно склонился ко мне, когда я завтракал, и, потирая руки, зашептал по-французски:

— Excellence! Тайная полиция была здесь с запросом относительно вашей милости. Желает ли ваша милость, чтобы я сказал им что-нибудь особенное?..

Меня ждал Дауд-бей, и мы вместе вышли на улицу, где звенят пролетающие мимо трамваи, мальчишки-разносчики выкрикивают названия газет, напечатанных по-французски, а гостиницы, антикварные лавки, кафэ, банки и посольства делают ее похожей на ободранный квартал итальянского города. Здесь все, и мужчины и женщины, одеты в европейское платье, немножко уже вышедшее из моды,—покрой и материя из магазина готового платья со второразрядной улицы Нью-Йорка. Это толпа, в которой нет определенных национальностей,—смесь всех рас,—легкомысленная, беззастенчивая и ловкая толпа людей, которых можно определить одним словом—левантинцы. У дверей немногих открытых

посольств восседают традиционные посольские швейцары—черногорцы в своих варварских одеяниях, состоящих из широченных шаровар, узкой куртки и яркого, широкого пояса с пистолетами. У дверей консульств и миссий околачиваются «кавасы» в расшитой золотом форме, в красных фесках, увешанные блестящим оружием. Иногда по улице проносится элегантный экипаж с кучером и выездным лакеем, одетыми в яркие ливреи дипломатического корпуса. Но стоит свернуть немного в сторону от Grande rue (Большой улицы) или Трамвайной улицы, и вы очутитесь среди высоких домов с выступающими верхними этажами, из которых раздаются призывы полураздетых женщин, бесстыдно глядящих изо всех окон. В этих узких, извилистых уличках толпятся и ютятся воры, мошенники и все, что есть низкого и порочного среди христианского Востока. Под ногами ужасающая грязь; потоки подозрительной жидкости выливаются из окон без всякого стеснения; кругом стоит невыносимая, характерная вонь. Такие улицы тянутся на целые мили, целые кварталы отданы распутству и разврату, между тем как лицом к культурным джентльменам и изящным дамам европейской колонии повернут только бойкий и тонкий, как скорлупа, слой отелей, клубов и кафэ.

Это был день, когда Варшава очутилась в руках у немцев. Вчера все немецкие учреждения и предприятия вывесили германские и турецкие флаги, чтобы отпраздновать это событие. Спускаясь по крутой улице, которая с безжалостностью современной цивилизации разрезает пополам древнее турецкое кладбище для того, чтобы можно было провести трамвай, Дауд-бей

рассказал мне интересные подробности относительно этого празднования.

— Турецкая полиция обошла все дома,—говорил он со смаком,—и приказывала везде спускать германские флаги. Пришлось выдержать целую бурю, так как германское посольство серьезно обиделось.

— Зачем же вы это сделали? Разве вы не союзники?

Он сбоку посмотрел на меня и насмешливо улыбнулся.

— Никто сильнее меня не привязан к нашим тевтонским братьям; вы знаете ведь, что немцы заставляют наш народ думать, будто они мусульмане. Возможно, что, согласно германским взглядам, взятие Варшавы может считаться также и турецкой победой; но мы, знаете ли, становимся очень чувствительны по части распространения германских флагов в городе.

Я заметил, что на многих магазинах и отелях есть новые вывески на французском языке, но в большинстве случаев европейские языки совсем устранены.

— Вам покажется это забавным,—сказал Даудбей.—Видите ли, когда разразилась война, правительство издало распоряжение, чтобы никто в Турции не пользовался языком враждебных наций. Французские газеты были запрещены, французские и английские вывески сняты; было воспрещено говорить по-французски, по-английски и по-русски; письма, написанные на одном из этих трех языков, просто сжигались. Но вскоре оказалось, что большая часть населения по эту сторону Золотого Рога говорит только по-французски и совсем не знает турецкого; пришлось уступить. Что же касается писем—дело было просто. Американский консул протестовал, поэтому неделю тому назад

в газетах было напечатано, что хотя французский, английский и русский попрежнему запрещены, все же можно писать письма на американском языке!..

Дауд-бей—турок из старой, знатной семьи, что очень редко встречается в Турции, где семьи возвышаются и падают на протяжении одного поколения, где нет фамильных традиций, так же как не существует и фамилий. Дауд сын Гамида—это все, что мы о нем знаем, так же как и я был известен турецкой полиции как Джон сын Чарльза.

С великолепной беспечностью, столь свойственной туркам, Дауд был сделан адмиралом турецкого флота в возрасте девятнадцати лет. Несколько лет спустя была приглашена английская морская комиссия для реорганизации турецкого флота. Неловко было уволить знатного, богатого молодого турка с занимаемой им должности. Комиссия обратилась к нему с вежливым вопросом, желает ли он продолжать свою службу. Он ответил: «Я очень бы желал ее продолжать, при том только условии, что мне не придется ступить ногой на корабль. Я совершенно не выношу моря». Итак, он больше не служит во флоте.

Я спросил его, почему он не проливает кровь и не ищет смерти вместе со своими соотечественниками в Галлиполи.

— Конечно,—сказал он,—вы, западные европейцы, этого не поймете. У нас вы можете откупиться от военной службы, уплатив сорок лир. Если же вы этого не сделаете—это равносильно тому, что у вас нет сорока лир. А такое предположение унизительно. Ни один турок из сколько-нибудь знатной семьи не может позволить себе служить в армии, если, конечно, он не

вступает в высшие чины, избирая себе военную карьеру. Да, дорогой, если бы я вздумал служить на войне, это было бы позором, который убил бы моего отца. Совсем иначе, чем у вас. У нас унтер-офицер, производящий набор, предлагает вам уплатить взнос за освобождение от службы, и, если у вас не найдется денег, он будет насмехаться над вами.

У подножья холма целая путаница перекрещивающихся улиц: крутая улица, бывшая прежде единственным путем, по которому можно было взобраться на Пера; извилистые, узкие переулки, протискивающиеся через греческий квартал, наполненный высокими грязными домами, ведущие к постыдному матросскому кварталу Галаты с его улицами Пяти и Десяти Пиастров; улица, ведущая к тоннелю фуникулера, где вагонетки карабкаются под землей к вершине холма,—все эти улицы выходят на площадь Кара-Киой перед прославленным мостом Валидэ-Султан-Кейпризи, ведущим в Стамбул.

Одетые в белое собиратели пошлин стоят у моста, колеблющегося, то смыкающегося, то размыкающегося под напором толпы, кидающей звенящие монеты в десять пара в их протянутые руки. Как бесконечный поток среди белых свай, льется этот пенистый и брызжущий настой из всех наций и религий—из Стамбула в Пера, из Пера в Стамбул. Развевающиеся шелковые арабские головные уборы, шлемы, красные с желтым тюрбаны, элегантные фески—фески, окутанные зеленым тюрбаном, чтобы отметить родство с пророком, фески с белым тюрбаном—знак священников и учителей,—персидские «тарбуши», французские шляпы, панамы. Спешащие группы женщин с закрытыми лицами, которых

не может видеть ни один мужчина, под «чадрою» черного, серого и светло-коричневого цвета, на невероятно высоких французских каблуках, в сопровождении черной рабыни; арабы из сирийской пустыни в развевающихся белых одеждах; дервиш,—откуда-то из деревенской глуши, заросший бородой до самых глаз, покрытый рваным пестрым рубищем, сквозь которое видно загорелое тело,—бормочет в экстазе молитвы, в то время как кучка почитателей теснится вокруг него, чтобы поцеловать руку и вымолить благословение; босоногие армянские носильщики, бегущие мелкой рысцой, сгибаясь под тяжестью больших ящиков, громко кричат: «дестур», чтобы расчистить дорогу; четыре солдата с новыми винтовками; верховые полицейские в шлемах; евнухи в сюртуках, неуклюже волочащие ноги; болгарский епископ; три албанца в синих суконных шароварах и куртках, расшитых серебром; две католических сестры милосердия, идущие за повозкой,—ее везут ослики—подарок торговцев-магометан Большого Базара; «мевлеви», или пляшущий дервиш, в высокой конической фетровой шапке и сером одеянии; группа немецких туристов в тирольских шапочках, с открытыми бедекерами в руках, во главе с представительным армянским гидом; представители пятисот осколков чуждых рас, оставленных после великих нашествий древности во всех углах и закоулках Малой Азии. Пера—европейская, греческая, армянская, итальянская, все что угодно,—только не турецкая. Куда же направляется эта экзотическая толпа, вливающаяся в Пера? Вы ее никогда там не видите.

Тысячи торговцев самыми невероятными товарами,—ангорским медом, халвой, рахат-лукумом из лепестков

роз, каймаком (сделанным из молока буйволиц, укрытых в темных стойлах), гнусных открыток, мундштуков немецкого изделия, адрианопольских дынь, английских булавок, ковров из Ньюарка в штате Нью-Джерсей, целуллоидных бус,—все это движется среди толпы, выкрикивая и расхваливая свои товары, вопя, зазывая и визжа: «Только цент, один цент, два цента! Он пара, беч парайя!»

Вправо расположен торговый порт, переполненный судами, и за ним внутренний мост, перекинутый через прекрасный изгиб Золотого Рога.

За мостом расположился ряд понтонов для охраны порта от английских подводных лодок, а возле пристани Ширкет Хариэ—пароходы Босфора, стремительно врезающиеся с ревущими свистками в гущу каиков, снующих повсюду, как стая рыб. А там, за ярко-голубой, плещущей далью, смутные очертания Малой Азии, ее гористые берега с белыми точками Скутари, Стамбул, купающийся в море, увенчанный дворцами и зеленью деревьев...

Слева направо изумительный размах города и великих мечетей: Айа Софиа, построенная императором Юстинианом тысячу лет тому назад, вся на массивных неуклюжих упорах выцветшего желтого и красного цвета; мечеть султана Селима, покорителя Мекки; мечеть султана Ахмета; Йени Валидэ Джами у конца моста, султана Сулеймана Великолепного, который был другом Франциска I, султана Баязета...

Пловучий раздвижной мост медленно, со скрипом сдвинулся, чтобы дать проход немецкой подводной лодке, идущей из Дарданелл. Она плыла на поверхности, ее перископ был выкрашен в ярко-голубой с белыми

полосами цвет, который лучше всего маскирует в южных морях, но внезапно на солнце набежало облако, и она стояла, ясно выделяясь на посеревшей воде.

— Потребуется не меньше часа, чтобы опять свести мост,—сказал Дауд-бей и потащил меня в узкий проход между каменными зданиями, где маленькие столики и табуретки приютились в тени высокой стены, и старый турок в шлепающих туфлях и потрепанной феске подавал мороженое. Там, на площади—шум и крики, знойное солнце, заливающее мостовую, здесь—прохлада и мирный покой.

— Дауд-Паша!—произнес смеющийся голос. Это была стройная девушка в выцветшем зеленом феридже, с загорелыми, босыми ногами, закутанная в шаль, которую она заколола под самым подбородком, как делают самые бедные девушки, не могущие позволить себе роскошь вуаля.

Ей не могло быть больше пятнадцати лет; у нее золотистая кожа и черные лукаво мерцающие глаза.

— Эли!—воскликнул Дауд, схватив ее за руку.

— Дай мне денег!—сказала Эли повелительно

— У меня нет мелочи.

— Отлично, так дай мне крупных.

Дауд засмеялся и протянул ей меджидий, она вскрикнула от удовольствия, захлопала в ладоши и убежала.

— Цыганка,—сказал Дауд,—и самая красивая девушка в Константинополе. Хамди, один из моих друзей, влюбился в нее и взял ее в свой гарем. Она поселилась в Эюбе. Но две недели спустя я как-то зашел сюда и, сидя за стаканом шербета, вдруг услышал рядом звонкий голосок: «Дауд-Паша, дай мне денег, пожалуйста». Это была Эли. В течение двух недель она старалась

быть почтенной замужней женщиной, так как действительно любила Хамди. Он был к ней очень добр—дарил ей наряды и драгоценности и ухаживал за ней, как любовник. Но она не могла дольше выдержать, клянчить на улицах было гораздо веселее—она любила толпу. Раз ночью она выскользнула из гарема и переплыла через Золотой Рог!

Он засмеялся и пожал плечами:

— Невозможно приручить чингани.

Мы расплатились.

— Да будет с вами милость аллаха,—ласково сказал хозяин, а турок, сидевший за нашим столиком, поклонился и пробормотал:—Афиет олсун. Да пойдет вам на пользу скушанное вами!

У пристани, где выстроились каики, каждый лодочник громко вопил, стараясь перекричать другого; слепая старуха в черных отрепьях скрючилась у стены и протягивала руку за милостыней. Дауд бросил ей медную монету. Она подняла на нас свои невидящие глаза и сказала нежным голосом: «Да будет радостен ваш путь».

— Кач парава? Сколько?—сказал Дауд. В ответ раздался гул голосов, кричащих что-то непонятное.

— Возьмем этого старика,—сказал мой приятель, указывая на фигуру с длинной седой бородой, в оранжевой тюбетейке, красном кушаке и розовой рубашке, расстегнутой спереди, обнажающей его старую волосатую грудь.

— Сколько, эффенди?—Дауд употребил почтительное выражение, которое турки применяют без различия ранга и положения.

— Пять пиастров,—ответил старик с надеждой в голосе.

— Я заплачу полтора,—сказал Дауд, прыгая в каик.

Каикджи, ничего не ответив, оттолкнулся от берега.

— Как тебя зовут, отец мой?—спросил Дауд.

— Мое имя Абдул, сын мой,—сказал старик, гребя и потея на солнце.—Я родился от Магомета Коротконогого в Трапезунде, на Черном море. Уже сорок два года плаваю я в своем каике по Стамбульскому лиману.

Я попросил Дауда спросить, что он думает о войне.

— Хорошая война,—сказал Абдул.—Все войны против гяуров хороши; разве не говорится в коране, что тот, кто умирает, разя неверного, попадет в рай?

— Ты сведущ в коране!—воскликнул Дауд.—Может быть, ты—шейх и руководишь молитвами в мечети?

— Разве надет на мне белый тюрбан?—сказал старик.—Нет, я не священник, но в молодости я был муэдзином и призывал к молитве, стоя на минарете.

— Что ему за дело до войны?—сказал я.—Лично его она не затрогивает.

Дауд перевел.

— У меня на войне четыре сына и два внука,—сказал Абдул с достоинством. Затем, обращаясь ко мне:—Ты аллеман—немец—один из наших братьев, которые не знают нашего языка и не носят фески? Расскажи мне, какой формы и постройки ваши мечети. Так ли велик ваш султан, как и наш?

Я уклончиво ответил, что он очень велик.

— Мы победим в этой войне, иншалла, если будет угодно богу,—сказал Абдул.

— Машалла!—серьезно ответил Дауд, и мне стало ясно, что его легкий европейский скептицизм—только тонкий слой лака на восьми столетиях религиозного фанатизма.

СЕРДЦЕ СТАМБУЛА

Наш каик врезался в гущу сгрудившихся каиков, шумную от крикливых и спорящих лодочников. Абдул встал во весь рост и заорал:

— Вардах! Дайте дорогу, собачьи дети! Дайте дорогу пассажирам! У вас нет пассажиров, чего же вы загораживаете пристань?

Мы положили полтора пиастра на скамейку гребца и соскочили на берег Стамбула. Пройдя через узкую вьющуюся улицу, высоко загроможденную дынями, арбузами, овощами, бочками с водой и завешанную ободранными полотнищами, подпертыми палками, мы наткнулись на изумительную толпу носильщиков-амбалов, мулл, купцов, паломников и разносчиков. По восточному обыкновению, никто из них не сдвинулся с нашей дороги—мы прокладывали себе путь пинками.

По поперечной улице, между двойным рядом солдат, маршировала вереница юношей и молодых людей—каждый из них нес каравай хлеба.

— Рекруты,—сказал Дауд-бей.

Часто мы встречали унтер-офицеров в сопровождении двух вооруженных людей, бродивших среди толпы и пытливо всматривавшихся в лица молодежи: они выискивали среди них годных людей, еще не призванных в солдаты. Рев и топот ног, яростный вой и крики

боли привлекли наше внимание к соседнему переулку, где с сотню мужчин и женщин всех наций волновались перед дверьми какого-то магазина; кисти фесок танцовали в воздухе, взвивались и тонули жадные руки, вопили придушенные голоса, а там, где кончалась толпа, два полицейских лупили по спине всех, до кого только могли дотянуться,—хлоп, хлоп!

— Очередь за хлебом,—пояснил Дауд.—Сотни таких мест по всему Константинополю. В Анатолии вполне достаточно зерна, но товарные вагоны нужны армии,— так, по крайней мере, говорят.

Я заметил, что накормить город должно быть делом не особенно трудным.

— Возможно,—сказал он с ироническим кивком.— Слыхали ли вы, ходит слух, что городские чиновники попридерживают продовольствие, чтобы поднять цены? Это, конечно, ерунда, однако, такие вещи случались прежде. А потом и наши германские братья более или менее ответственны за это. Они уговорили наше правительство переписать все население города—вещь, которую невозможно было сделать ни разу после пятнадцатого столетия. Но на германцев можно положиться во всяком деле. Правительство забрало все пекарни и закрыло их на три дня, во время которых было объявлено, что каждый должен выхлопотать себе хлебную карточку, чтобы иметь возможность купить хлеб. Мало-по-малу нас всех зарегистрировали, ведь нужно же человеку есть. Вчера вечером, на задних улицах Пера я наткнулся на пекарню, в которой были распределены все запасы. Перед ней галдела толпа людей, не успевших получить хлеба. Сперва они разбили окна, несмотря на колотивших их полицейских, а потом начали

срывать турецкие флаги, вывешенные на всех домах в честь взятия Новогеоргиевска. Они кричали: «Что нам за дело до побед! Дайте нам хлеба!»

Мы сидели, поджав ноги, в лавке Юссуф-эффенди-ходжи, на Мизр Чарши, то-есть на Египетском Базаре, где продаются аптекарские снадобья. Тусклый свет, проникавший через затянутые паутиной окна, расположенные высоко в сводчатой крыше, покрывавшей базарный ряд, создавал прохладную тень, насыщенную запахами парфюмерии, аптекарских снадобий, зелья и странных восточных медикаментов, кофе из Адена, чая из Южной Персии. Выбеленный свод над нами был испещрен множеством черных завитушек, петлями молитв к аллаху и змеями Эскулапа, сплетавшимися в стихи из корана. Над лавкой был вычурный, покрытый паутиной карниз из резного дерева, а оттуда, из смутного полумрака, свисали связками разные заморские предметы: нищенские чаши дервишей, сделанные из ломкой кожи морских животных, страусовые яйца, черепаховые панцыри, два человеческих черепа и, что бросалось в глаза, нижняя челюсть лошади. На прилавке и задних полках были тесно расставлены стеклянные банки и глиняные горшки,—в них сырая амбра, комья камфары, гашиш в порошке и кусках, индийский и китайский опиум и жидкий опиум из Анатолии, пучки засушенных трав для лечения чумы, черный любовный порошок для привораживания, кристаллы для полового возбуждения, талисманы для отвода дурного глаза и поражения ваших врагов, благовонное масло из роз, чурки сандалового дерева и сандаловое масло. Маленькая темная комната позади магазина была загромождена тюками и кувшинами,

когда Юссуф-эффенди засветил лампу, комната выглядела и пахла так же, как подземелье Сорока Разбойников. Он задержал нас своими поклонами, размахивая правой рукой и снова и снова прикасаясь ею к своим губам и лбу. У него высокая, полная достоинства фигура в длинном кафтане из серого шелка и в феске с обмотанным вокруг нее белым тюрбаном религиозного учителя; черная, лоснящаяся борода, закрывающая его властный рот и сверкающие зубы; темные глаза, ласковые и проницательные.

— Салям алейкум, Дауд-бей,—мягко произнес он.— Мир да будет с вами.

— Алейкум салям, Юссуф-эффенди,—ответил Дауд, быстро прикасаясь рукой к губам и лбу.—Это мой друг из Америки.

— Хош гельдин. Милости просим,—любезно сказал мне ходжа с неизменным движением руки к губам и лбу.

Он не сказал «салям», которым магометане приветствуют только друг друга. Ходжа говорил только по-турецки.

— Бедри!—крикнул он и хлопнул в ладоши, и откуда-то из недр магазина вынырнул маленький мальчик.— Кофе, хайде!

Мы сидели в прохладном душистом полумраке, прихлебывая густой сладкий напиток, куря из длинных деревянных чубуков папиросы, которые мы крутили из отборного самсунского табака.

— Как себя чувствует эффенди?—приветливо бормотал ходжа, соблюдая ритуал восточной вежливости.

Каждый наш глоток, каждую нашу затяжку папиросой он сопровождал прикосновением к своим губам и ко лбу, на что мы отвечали ему тем же.

Ходжа был влиятельным человеком в Стамбуле. В течение двадцати лет он был муэдзином в мечети Зеирик Килисси, которая была некогда церковью «спасителя», и в тени которой до сих пор еще стоит саркофаг императрицы Ирины; потом руководителем молящихся по пятницам в самых больших мечетях, популярным учителем и известным доктором; наконец его приглашал султан Гамид читать молитвы в Йилдыз Киоск, куда султан замкнулся из страха быть убитым.

— Я знаю много небылиц об американских чудесах,—любезно сказал Юссуф-эффенди.—Там, говорят, есть дворцы много выше, чем те, что возводились джинами в старинные времена, и я слыхал, там есть злой дух,—здесь глаза его замерцали,—который гордо шествует по вашим улицам и пожирает людей. Его не знают ни в какой другой стране. Как-нибудь я поеду туда, так как я предвижу, что опиум там расценивается на вес золота.

Он переводил свой взгляд с Дауд-бея на меня.

— Вы заметно отличаетесь от нас, вы—западные народы,—говорил он.—Дауд-бей прекрасен, но он чересчур утончен и слишком много думает. У него когда-нибудь начнется нервное подергивание. Ему не следует курить табак, а нужно побольше есть яиц и молока. Передайте американскому эффенди, что мне кажется, что он не думает слишком много и счастлив. Я поступаю точно так же.

Я попросил Дауда спросить его, сколько у него жен. Ходжа понял мое невежливое любопытство и улыбнулся.

— Пекки! Хорошо! А сколько жен у эффенди?—ответил он.—Думает он, что для магометанина легче содержать двух жен, чем для христианина? Да сохранит нас

аллах! Женщины очень расточительны. У меня только шесть знакомых, у которых больше одной жены. Когда в мой гарем приходят ночью армянские торговцы живым товаром, чтобы продать прекрасную одалиску, я отвечаю им пословицей: «Сколько женщин может прожить на пищу одного человека?»

— Что думает Юссуф-эффенди о войне?

— Война?—спросил он. И уклончивое выражение на его лице показало, что я затронул вопрос, который его глубоко задевал.—Мой сын в траншеях Галлиполи. На все воля аллаха! Нечего думать о том, хороши ли войны или плохи. Мы воинственная нация, мы османлисы.

— А что турки...—начал я.

Ходжа прервал меня брызжущим потоком слов.

— Нас не надо называть «турками»,—сказал Дауд.—«Турок» означает неотесанную деревенщину, можно сказать, чурбан. Мы—не туркмены, варвары, кровожадные дикари из Средней Азии. Мы османлисы—старинная и цивилизованная раса.

Ходжа откровенно рассказывал о германцах.

— Они мне не нравятся,—говорил он.—Они невежливы. Если англичанин или американец пробудет в Турции хотя бы один месяц, он приходит в мою лавку, прикладывая руку к губам и ко лбу и приветствуя меня: «Сабах шерифиниз хаир ола». Прежде чем купить что-либо, он, как полагается, отведает мое кофе и папиросы. А когда заходят германцы, они отдают честь, как в своей армии, и отказываются от моего кофе, и хотят только купить и поскорее уйти без всякой дружеской приветливости. Я не продаю больше «аллеманам».

Позже я встречал в городе много германцев—офицеров, туристов и гражданских чиновников. Часто они

оскорбляли щекотливый этикет, которым проникнута жизнь магометан. Они заговаривали на улице с покрытыми чадрой женщинами, запугивали купцов на Большом Базаре, шумно вваливались в мечети во время молитвенных часов по пятницам, когда ни одному европейцу не разрешается туда входить; а однажды на галлерее посетителей на теккех'е завывающих дервишей я видел, как два германских офицера читали, в продолжение всей службы, вслух по-немецки выдержки из корана—к несказанному негодованию муллы...

Мы поднялись с Юссуф-эффенди по запутанным, извивающимся улицам Стамбула и нырнули в пассаж, вдоль которого тянулись крошечные армянские лавки; прошли под стенами похожих на крепости ханов, выстроенных для приема иностранцев матерями прежних султанов; пересекли по таинственным ходам тихие дворы больших мечетей, где дети играли вокруг изящно высеченных из мрамора фонтанов, в тени громадных вековых деревьев; спустились вниз по маленькой уличке, что вилась меж деревянных навесов граверов и продавцов четок тесбие; с крыш каскадами спадали гроздья зеленого винограда; вышли на обширные, выжженные солнцем пыльные площади, остатки византийских форумов и колизеев, более обширных, чем римские; по извилистым аллеям деревянных домов с выступающими шахничарами, там только случайно можно было встретить прохожего—горластого разносчика, бьющего своего осла, имама с важным лицом, женщин, отворачивающих лица.

Когда мы проходили мимо женщин, Дауд-бей начинал громко говорить по-немецки.

— Они думают, вы германский офицер,—смеясь сказал он,—и это производит потрясающее впечатление. Во всех гаремах изучают теперь немецкий язык, и лейтенант из Берлина или Ганновера стал романтическим идеалом большинства турецких женщин!

Половина встречавшихся нам людей кланялись ходже,—кланялись ему смиренно, как человеку видному и могущественному. В бесконечном лабиринте крытых уличек, которые образуют Большой Базар, с обеих сторон слышался двойной хор криков:

— Юссуф-эффенди, купите у меня. Посмотрите, что за великолепный чубук! Удостойте меня своим посещением, Юссуф-эффенди!

На Бечистане, этой огромной мрачной площади, где продают драгоценности и благородные металлы, инкрустированное золотом и серебром оружие и старинные ковры, мы с триумфом переходили от прилавка к прилавку в сопровождении самого шейха Бечистана.

— Сколько это стоит?—величественно спросил ходжа.

— Одну лиру, эффенди.

— Разбойник и вор,—спокойно ответил наш спутник.—Я даю тебе пять пиастров.—Он двинулся, бросив назад через плечо:—Собака, мы уйдем и больше не вернемся!

— Десять пиастров! Десять пиастров!—завопил торговец, в то время как шейх распекал его за такую неучтивость к знаменитому Юссуф-эффенди...

Для меня он сбил цену у нервно кричавшего продавца янтарного чубука с двух с половиной лир до двадцати пиастров.

— Не заставляйте меня кричать, Юссуф-эффенди!—вопил он надрывающимся голосом, и пот выступил

на его лбу.—Вы меня доведете до апоплектического удара!

— Двадцать пиастров,—спокойно и неумолимо повторил ходжа.

Перед обедом мы сидели в темной задней кладовой маленькой греческой книжной лавки около Блистательной Порты, рассматривая иллюстрированный от руки коран,—Дауд-бей, я и ловкий и приветливый хозяин. Вошел молодой полицейский в серой форме с красными погонами и в шапке из серого каракуля. Он подошел к нам, глубоко вздохнул и начал грустным голосом рассказывать по-турецки какую-то длинную историю. Дауд переводил.

— Меня смешали с грязью,—говорил полицейский.—Меня страшно унизили. Несколько дней тому назад я наблюдал, как Ферид-бей и Махмуд-бей сидели в кафэ, разговаривая с какой-то гречанкой, уличной девушкой без чадры. Ферид-бей подошел ко мне и говорит: «Ты должен арестовать Махмуд-бея».—«Почему?»—спрашиваю я. «Потому что он говорит девушке всякие скабрезные вещи». Я был очень удивлен. «Я не слышал, чтобы скабрезные разговоры с девушкой запрещались законом»,—говорю я. «Я друг Бедри-бея, начальника полиции,—говорит Ферид-бей,—и я требую, чтобы ты арестовал Махмуд-бея за скабрезные разговоры с этой девушкой». Я арестовал Махмуд-бея и отвел его в тюрьму. Он просидел в тюрьме три дня, потому что все забыли о нем, но, наконец, смотритель тюрьмы протелефонировал Бедри-бею и спросил, что делать с Махмуд-беем. Бедри-бей ответил, что он ничего не знает об этом человеке и обо всем этом деле, так что чего же

держать его в тюрьме? Поэтому они освободили Махмуд-бея, и он сейчас же позвонил по телефону Бедри-бею и пожаловался ему на арест. «Говорить скабрезности,—сказал он,—в этом нет преступления против закона». Тогда Бедри-бей позвал меня к себе и начал обкладывать меня разными словечками, вроде «собачьего сына», и грозил уволить меня. Вместе с Махмуд-беем я отправился арестовать Федри-бея. Но он уже удрал, он и эта девушка вместе. Тогда Махмуд-бей дал мне по уху. Я унижен.

Мы обедали в ресторане в городском саду на Пти Шан на Пера, под пронзительные звуки оркестра. Полосатый тент над террасой ярко окрашивался потоком желтого света, а электрические лампы, висевшие высоко в густой листве деревьев, освещали сидевших за железными столиками людей и космополитическую толпу, что без конца кружила по саду. Смутно в дымчатом сиянии огромной желтой луны отсвечивал Золотой Рог, испещренный красными и зелеными огнями судов. За ним лежала, точно припавшее к земле животное, темная, мрачная масса Стамбула.

Обедающие были большей частью германцы и австрийцы,—офицеры, находившиеся в отпуску; адъютанты, служившие в генеральном штабе, в полной турецкой военной форме; гражданские чиновники и высоко оплачиваемые рабочие крупповских заводов; многие из них со своими женами и детьми, в буржуазной обстановке, походили на приглашенных к обеду гостей, точно в ресторанах Берлина. Но были там также и французы с нарядно одетыми женами, англичане, итальянцы и американцы. В медленно подвигавшемся в отдалении под

деревьями скопище народа разгуливали греки из Пера, армяне, левантийские итальянцы, разные турецкие чины, германские моряки с подводной лодки, германцы в фесках, служившие в турецком флоте, и громадные раскачивающиеся румяные американские матросы с военного судна «Скорпион», возвышающиеся в своей белой летней военной форме головами и плечами над всей толпой.

А в Галлиполи безостановочно и днем и ночью плевались и гудели над сухими песками тяжелые орудия...

Если бы только у меня хватило места описать гомерические побоища этих американских моряков! Германские матросы с военных судов и солдаты были настроены дружелюбно, но рабочие и штатские очень задорно. Иногда какой-нибудь опьяненный или возбужденный тевтонец подходил к столу американцев и затевал ссору по вопросу о военном снаряжении или о случае с «Лузитанией», или германский офицер в турецкой форме останавливал их на улице и требовал, чтобы они отдали ему честь. Ничем, кроме оскорбления, матросы на это не отвечали, а затем пускали в ход бокс. Я бы мог написать целую главу только о той ночи, когда моряк Вильямс проломил голову германскому лейтенанту глиняной пивной кружкой, и был переведен за это обратно в Соединенные Штаты, как «не соответствующий дипломатической службе». Есть еще одна замечательная история о том, как два матроса выставили из кафэ семнадцать атаковавших их немцев, за что полиция отвела их обратно в Американский морской клуб, а израненных врагов их

посадила на три дня в тюрьму... Американские матросы и турецкая полиция взаимно питали друг к другу чувства уважения и дружбы...

Потом мы сели в экипаж и поехали вниз по крутым, темным улицам к внутреннему мосту. Извозчик тщательно прикрыл фонари, так как свет на мостах был запрещен из предосторожности против притаившихся, возможно, британских подводных лодок. Стамбул утопал во мраке—берегли уголь.

Тусклые лампы внутренних помещений маленьких лавок и кофеен бросали мерцающие блики на закутанные в обширные восточные одежды таинственные фигуры, молча проскальзывавшие в туфлях.

Юссуф-эффенди сидел в своем излюбленном кафэ на улице, проходившей за мечетью Баязета. Мы сидели там с ним, беседуя, попивая кофе и лениво попыхивая из кальяна серым, прохладным дымом, от которого на лбу выступают капли пота... Позже мы пошли бродить в темноте по городу путями, одному ему известными, через сводчатые проходы, через бреши в стенах и дворы мечетей. Тяжелой ночью один за одним выходили на величественные минареты муэдзины и кричали тем потрясающим напевом, который разносится столь далеко и кажется последним реквиемом этой старой вырождающейся религии.

Любезный ходжа настаивал на том, чтобы пойти вместе с нами на Пера, и мы пригласили его выпить с нами кофе в «Пти Шан». На открытой сцене давали обычную вечернюю программу: певицы, танцоры, странствующий американский комедиант, венгерские акробаты, германские марионетки—резкие голоса, сладострастные жесты,

нескромные одежды, неграциозные изгибы западных танцев. Как вульгарно казалось все это после величавого покоя Стамбула, после изысканной учтивости турецкой жизни!

Несколько турецких офицеров из внутренних областей Малой Азии, никогда не видавшие прежде женщин с неприкрытыми лицами на народе и в коротких юбках, открывающих ноги, сидели, раскрыв рты, в переднем ряду, то краснея от гнева и стыда, то хохоча во все горло над изумительными непристойностями цивилизованного Запада... Ходжа внимательно наблюдал за представлением, но его безукоризненная благовоспитанность не позволяла выказать замешательства. Скоро оно закончилось, и, несмотря на решительные протесты со стороны ходжи, мы проводили его вниз по холму до моста. Он ничего не говорил о представлении. Но меня разбирало любопытство узнать его действительное мнение.

— Это очень увлекательно,—ответил Юссуф-эффенди с присущей ему вежливостью.—Я поведу свою маленькую внучку посмотреть на это.

Внизу темный мост был разведен, чтобы пропустить контрабандное судно, полное угля и нефти, которое проскользнуло по берегу из Бургаса. В этот час ночи всем, кроме высших офицеров, запрещено было переезжать через Золотой Рог в каиках, так что, казалось, ничего не оставалось больше делать, как только бесконечно ждать, пока не сведут мост. Однако Дауд-бей уверенно направился вниз к лодочной пристани. Внезапно из мрака вынырнул военный патруль.

— Дур! Стой!—закричал офицер.—Куда вы идете?

Дауд-бей грубо повернулся к нему.

— Wir sind Deutsche offizieren! Мы германские офицеры!—заревел он.

Патрульный поспешно отдал честь и снова нырнул в темноту.

— Германцы всегда так делают,—усмехнулся Дауд...

Поздно ночью мы еще раз взобрались на холм Пера. В темных боковых улицах перед пекарнями уже начинали собираться очереди, чтобы простоять до утра. На Трамвайной улице нас задержало множество проносившихся с гудками автомобилей и следовавших один за другим, со звоном колокольчиков, извозчичьих экипажей. Через темные окна мы замечали мельком выглядывавшие бледные забинтованные лица—с фронта прибыло еще одно судно Красного Полумесяца, и раненых спешили разместить по госпиталям.

ИНТЕРВЬЮ С ПРИНЦЕМ

В воскресенье мы сели на пароходик, который шел через Босфор на Кады-Киой, чтобы повидать Ахмет-эффенди, принца султанской крови—сына Абдул Гамида и седьмого по очереди наследника султанского престола. В Турции престол наследует старший член правящей династии, а поэтому, вскоре же после вступления на престол, каждый султан удавливает, само собой разумеется, своих двоюродных братьев, родных братьев и дядей, и заключает в тюрьму всех своих сыновей, кроме наследного принца, пока этот последний сам не достигнет халифата и не освободится от своих братьев путем отравленного кофе или веревки. Во времена принца Ахмета фамильные убийства, как царская забава, уже прекратились, но заточение сыновей все еще было в большом ходу. В продолжение двадцати с лишним лет он был заключен во флигеле дворца в Долма Багче на Босфоре—заперт там со своими женщинами и рабами. Ни одному посетителю не разрешалось видеть его, до него не доходила ни одна газета, ни одно дыхание жизни, ни один звук внешнего мира. Когда революция младотурок свергла его отца, он был освобожден—толстая, рыхлая, маленькая фигура, едва научившаяся читать и писать, растерявшаяся и затерянная в потрясающем вихре современной жизни.

Он жил в покинутой вилле одного англичанина, который удрал в начале войны. На звонок дверного колокольчика вышел черный улыбающийся евнух в поношенном сюртуке, низко поклонился Дауд-бею и ввел нас в отвратительную гостиную времен Виктории.

Коричневые обои с атласными полосками, мебель из черного орехового дерева, обитая блестящим синим плюшем, ужасная акварель на мольберте, изображающая скалы Дувра, и зеленый папоротник в деревянной модели каика. Это было смешно и в достаточной мере патетично—попытка этой сосланной семьи создать себе атмосферу дома. Но принц присоединил к этому свои собственные вещи: дешевые деревянные табуреты, выложенные перламутром, палисандрового дерева мавританские кресла с подушками из зеленого бархата и множество ковров неряшливой отделки и самых кричащих, дешевых немецких цветов. Он пригласил нас несколько позже восхититься ими и поведал Дауду, что он продал пятисотлетние китайские и персидские ковры, которыми был устлан его дворец-тюрьма, и купил вот эти, более яркие и, пожалуй, лучшие.

Это была долгая и тщательно выработанная церемония. Сперва евнух передал наверх известие о том, что мы хотели бы повидать его высочество. Затем некто вроде дворецкого, с перепархивающей от губ ко лбу рукой, пригласил нас сесть. Он исчез, и до нас донеслись сверху неясные звуки нарушенного покоя. Спустя пятнадцать минут евнух вернулся—его высочество примет нас. Долгое ожидание. Улыбаясь, кланяясь, приветствуя, с бормотанием: «салам алейкум, салам эффенди», вошел дворецкий, высокий, бородатый мужчина, у которого над тесным сюртуком сильно выдавалось вперед

адамово яблоко. Он хлопнул в ладоши, и на маленьком подносе появились кофе и папиросы,—кофе в крошечных чашечках, столь аляповато размалеванных клеевыми красками, что у меня зарябило в глазах.

— Разрисовано его высочеством цветными чернилами,—гордо сказал дворецкий.—Его высочество пишет также ландшафты.

Он обвел нас вокруг комнаты и продемонстрировал перед нами с дюжину картинок на кусках слюды, вроде тех, которые делают дети своими первыми детскими красками...

Мы вставали, садились, приветствовали, снова поднимались, сопровождая каждый глоток кофе цветистыми комплиментами. В конце концов чашки были убраны, и дворецкий удалился, кланяясь и сложив руки на животе. Дауд шепнул мне, чтобы я не сидел, положив ногу на ногу, так как в Турции это считается признаком дурного тона.

Двадцать минут. Появился евнух и пригласил нас следовать за собой. Мы вышли в расположенный за домом сад, в маленький закуток, который принц сделал для себя из посаженных молодых деревьев и камышевых стульев. Там нас встретил дворецкий с еще большими поклонами и комплиментами. Пятнадцать минут. В отдалении хлопанье в ладоши. Из-за кустов выскочили два евнуха и встали у дорожки. Дворецкий подпрыгнул, точно его подстрелили, и поспешил по дорожке встретить своего царственного повелителя, Ахмет-эффенди. Это был толстый и короткий, распухший, маленький человечек в феске, с бледным пятнистым лицом. Крошечные жесткие усы торчали прямо на верхней губе. На нем была серая визитка, высокий

тугой воротничок, серый шелковый галстук с воткнутой в него булавкой, в форме подковы из синего стекла, а его толстые ноги были втиснуты в лакированные ботинки с фиолетовым матерчатым верхом, зашнурованные желтой шелковой тесемкой. Его рот нервно подергивался, и, подходя туда, где мы стояли в почтительной позе, он все время перебирал пальцами. Он несколько раз под-ряд быстро прикоснулся к губам и лбу, протянул вперед руку, как будто собираясь пожать мою по западному обычаю, подумал хорошенько, отдернул ее назад и осторожно присел на край стула. Мы тоже сели; он быстро вскочил на ноги, заставляя этим и нас встать, и попробовал другой стул. Потом бросил на нас быстрый подозрительный взгляд и уставился взором поверх наших голов.

Дауд проделал обычные приветствия, на что его высочество ответил, как потом рассказывал Дауд, на плохом турецком языке.

— Я привел с собой своего друга Джона сына Чарльза, корреспондента американской газеты, который хочет засвидетельствовать вашему высочеству свое смиренное почтение,—сказал Дауд.

— Я никогда не разговариваю с репортерами!—внезапно выпалил принц Ахмет. А затем, поняв, что он сказал нелюбезную вещь, он мучительно покраснел и продолжал:—Я весьма почтен его и вашим визитом. Я очень люблю иностранцев. В прошлом году я пытался изучить английский язык, так как я в восхищении от англичан. Но я не мог заставить свою голову сосредоточиться на этом.—Он неожиданно повернулся в мою сторону.—Peoutefa di! Пиутифа ди!—сказал он.

Я посмотрел на Дауд-бея, ожидая его перевода, но он делал мне из-за спины принца какие-то необыкновенные знаки.

— Пиутифа ди! Пиутифа ди!—кричал Ахмет-эффенди срывающимся голосом.

— Его высочество говорит, что сегодня «прекрасный день», [1] по-английски, чудак вы,—пробормотал Дауд.

Принц побагровел от гнева, Дауд сверкал глазами, а я был уничтожен. Десять минут напряженного молчания.

— Принц хочет знать, как выглядит Нью-Йорк,—пояснил Дауд.

Я рассказал о подземных дорогах, о подвесных железных дорогах, о громадных толпах народа, спешащего по узким, прямым ущельям, в которых солнце показывается только на один час в день—так высоки окаймляющие их огромные постройки: двадцать этажей, тридцать этажей, сорок этажей... В то время как я насчитывал их, принц, разинув рот, блуждал глазами по небу, стараясь представить себе эту картину. Наконец он покачал головой и улыбнулся. Из-за недостатка темы снова наступило молчание. Принц елозил на месте и перебирал пальцами.

— Вот вы корреспондент,—произнес он наконец с каким-то нервным сарказмом,—может быть, вы расскажете нам какие-нибудь новости.

— Вашему высочеству известно, — ответил я, — что в нынешней войне никто не знает меньше новостей, чем корреспонденты. Но ваше высочество—сами

[1] «Прекрасный день» — по-английски — «beautiful day» (бьютифул дэй). (Прим. ред.).

высокопоставленный османли в государственном совете. Ваше высочество сами могли бы сообщить нам кой-какие новости...

— Что?—перебил он меня спесиво и гневно.—Вы смеете просить у меня это в первый же день нашего знакомства? Вам надо знать меня по крайней мере два года, прежде чем осмелиться задавать мне вопросы!

Снова он пришел в жалкое смущение и застыдился своего ничтожного нервозного подозрения.

— Я ничего не знаю о войне,—прибавил он упавшим голосом.—Я не состою в государственном совете.

Несчастное, беспомощное, заброшенное существо, ненавидящее жестокий мир, напавший на его страну, ненавидящее турок, потому что они свергли с престола, заключили в тюрьму его отца... Потерявший всякое значение, без всяких денежных средств, неспособный изучить математику или выучиться управлять автомобилем,—две вещи, которые он пробовал,—рассеянно и беспокойно прохаживающийся по своему маленькому мирку и преисполненный желания иметь хоть какую-нибудь связь с миром—таков был принц.

Я присутствовал на селямлике и видел седобородого, немощно улыбавшегося, трясущегося старого султана, выезжавшего из Йилдыза на молитву с сидевшим рядом с ним Энвер-Пашой, фактическим правителем Турции,—тридцатитрехлетним военным министром, который был некогда уличным разносчиком,—в то время как важные государственные сановники бежали рядом с коляской, а пышная, одетая в красное, придворная охрана кричала: «Падишах, чок яша! Да здравствует падишах!»

Я бродил по обширным, грязным коридорам Сераскерата, военного министерства, украдкой осматривая

ящики для укладки вещей, которые все еще стояли в коридорах: три раза упаковывались бумаги и ценности министерства для поспешного бегства, когда слухи об английских победах в Дарданеллах облетали весь город подобно блуждающим огням...

В чердаках и подвалах я встречался с армянами, которые прятались там месяцев пять и более, чтобы избежать «изгнания», которое означало верную смерть в пустынях Малой Азии. Из окон Американского морского клуба я приветствовал пленных англичан, когда они проходили мимо—худые, истощенные, больные люди, с глазами, впалыми от слабости и зрелища слишком щедрого и ненужного кровопролития. Высокопоставленные турецкие чиновники говорили мне в частных разговорах о своей тлеющей ненависти к германцам и своей наивной уверенности, что после войны германцы уйдут, оставив «Турцию для турок»...

— Мы не ненавидим христиан,—говорил Юссуф-эффенди.—Мы ненавидим только дурных людей. Есть хорошие христиане и плохие христиане, точно так же, как есть хорошие османы и плохие османы. Но в Турцию понаехало, кажется, слишком много плохих христиан. Сегодня на базаре вы спросили, из чистого ли янтаря были те четки. Купец-армянин сказал, что да, но я знал, что это не так. Турок не солгал бы так. Армяне и греки заламывают с вас в четыре раза больше, чем действительно вещь стоит, потому что они видят, что вы—иностранец. Турок запрашивает одно и то же и с иностранца, и с турка и ждет, что вы будете торговаться. Уличные женщины Пера и Галаты все христианки. Турчанок-проституток нет.

— Миссионеры? Миссионеры не спрашивают нас, хотим ли мы, чтобы они приезжали сюда и насильно навязывали нам западные идеи. Мы видели жизнь ваших людей на Пера, она не кажется мне лучше той жизни, которую ведем мы. Ваш Христос учит, что любовь и доброта и прощение лучше, чем грубая сила, но однако все, что у вас есть лучшего—это могущественные армии!.. Иисус был великий пророк, мы молимся ему в наших мечетях. Но он был не большим сыном бога, чем Магомет. Мы думаем, что ваша религия есть богохульство, но мы не пытаемся переменить у вас вашу религию. Однако вы пытаетесь обратить нас в веру, которую мы считаем младшей по отношению к нашей. Если бы христиане оставили нас в покое, мы бы не вырезывали армян...

Богатый армянин, живший в Буюк-дере, на Босфоре, шел еще дальше.

— Я искренне согласен с турками,—заметил он.—Если бы я был турком, я бы ненавидел христиан. Турция не может быть политическим государством. Это—теократия, и единственным органическим законом является магометанская религия. Поэтому все турецкие подданные не мусульмане оказываются естественно вне закона, а отсюда источник постоянных раздоров. Турок абсолютно честен в ведении своих дел—этого требует от него религия. А мы, христиане, лжем и обжуливаем с чистой совестью. Ни один мусульманин не может заниматься ростовщичеством—коран запрещает это. Естественным следствием этого является то, что вся торговля, банковское дело—фактическая сила во всех областях экономики—находятся в руках христиан или евреев—иностранцев, с которыми турецкая религия не позволяет

конкурировать. С турецкой точки зрения есть только один способ разрешения этого вопроса—все люди, кроме магометан, должны быть изгнаны из страны... Я сам был бы выслан, если бы я не сидел смирно и не поступал бы честно с турками. Я плутую только с иностранцами. И все-таки они такие простодушные, так похожи на детей в этом старом мире разбойничьих притонов и авантюристов, что они думают после войны отделаться также и от германцев. Нам с вами лучше знать... Это конец Турецкой империи, да, это конец, какая бы сторона ни победила...

БАЛКАНЫ В ОГНЕ

РУМЫНИЯ НА РАСПУТЬЕ

Из моего окна, с высоты ослепительного Атеней Палас Отеля в Бухаресте, построенного в ново-французском стиле, открывается вид на маленький парк, утопающий в почти тропическом изобилии деревьев и цветов. Бюсты местных румынских знаменитостей на мраморных колоннах в каменной неподвижности принимают мраморные венки, возлагаемые на их головы томными музами, склоняющимися над пьедесталом. Во Франции повсюду можно видеть сотни таких же.

Налево расположен Атеней, в котором смешаны различные черты Лувра, Пантеона и Трокадеро; построен он с намеком на архитектуру Парижской Оперы. Его купол в стиле барокко окружает фриз золоченых лир и имена великих умерших, написанные золочеными буквами: Шекспир, Сервантес, Пушкин, Камоэнс, Бетховен, Расин и т. д. и две или три какие-то румынские знаменитости, неизвестные на Западе.

На восток громоздятся прерывающиеся яркими пятнами деревьев красные черепичные крыши и белые каменные стены дворцов и отелей в до-нельзя современном цветистом французском стиле, с невяжущимися с ним восточными башнями или куполами православных церквей. Все это похоже на французский веселый городок где-нибудь на юге, этот маленький «Балканский

Париж», название которого—по-румынски—«Букарешти»—в переводе значит: «город веселья».

С закатом солнца город пробуждается от жары ясного летнего дня. Направо главная и самая бойкая улица Калеа Викторие с шумом протекает между отелем «Высший Свет» и зданием «Жокей-Клуба»—зданием, точно перенесенным сюда прямо с бульвара Гаусман. Все «общество» возвращается домой со скачек на Шоссэ,—нечто среднее между Булонским лесом и Елисейскими Полями,—где конюшня Александра Маргиломана, вождя германофильского течения в консервативной партии, выиграла, по обыкновению, дерби.

Начинается ежевечерний парад. Бесконечная вереница красивых парных экипажей, с запряженными в них великолепными лошадьми, быстро проносится в обоих направлениях по узкой извилистой улице. Кучера одеты в длинные архалуки из синего вельвета и подпоясаны яркими атласными лентами, концы которых развеваются сзади, так что можно править, держась за них, как за вожжи. Все эти экипажи—наемные, принадлежат они артели извозчиков, которые состоят членами какой-то дикой русской религиозной секты. Их верование требует, чтобы после того, как они женятся и произведут на свет одного ребенка, они сделались бы скопцами...

В каждой коляске сидят одна или две женщины, нарумяненные, разукрашенные и разодетые более фантастично, чем самые невероятные девицы, изображенные на плакатах французскими декораторами. Густая толпа, переливающаяся с тротуаров на улицу, медленно двигается от Атенея, мимо королевского дворца, к бульварам и обратно,—экстравагантные женщины, юноши, одетые под французских декадентских поэтов, целая

армия офицеров в разрисованной во все цвета военной форме, со множеством золотых позументов, с кисточками на сапогах и в фуражках, на которых бледно-голубое спорит с розовым, цвета семги: комбинация красок, при виде которой директор оперетки умер бы от зависти. У них одутловатые щеки и синяки под глазами, у этих офицеров, при чем щеки их иногда бывают нарумянены. Они проводят все время, катаясь со своими дамами вдоль по аллее или уничтожая сладкие пирожки в кондитерской Капша, где все видные или надеющиеся стать видными жители Бухареста каждый день показываются друг другу и где предрешаются существеннейшие дела нации. Какой контраст между офицерами и рядовыми солдатами—сильными, коренастыми, низкорослыми крестьянами, превосходно обмундированными и вымуштрованными, отряды которых проносятся мимо, на зов горниста, в свои части. Бесчисленные кафэ и кондитерские раскинули свои столики на тротуарах, а то и прямо на улице. Вокруг них теснятся распутного вида мужчины и похожие на певичек женщины. Из открытого сада-кафэ несутся звуки дикого цыганского оркестра, которые вошли в привычку, как крепкое вино. Сотни ресторанов полны экзотической толпой. Повсюду яркий свет. Витрины магазинов сверкают драгоценностями и ценными безделушками, которые мужчины покупают для своих дам.

Вы видите перед собой парад десяти тысяч публичных женщин, ибо истый бухарестец хвастается, что в процентном отношении в их городе больше проституток, чем в любых четырех городах мира...

Если посмотреть на все это, вам может показаться, что Бухарест такой же старинный город, как София или

Белград. Белый камень так быстро выветривается под жарким, сухим солнцем, жирная, тучная почва дает такое изобилие растительности, жизнь так многообразна и испорчена—а между тем всего только тридцать лет тому назад здесь не было ничего, кроме жалкой деревушки, нескольких старых церквей и старинного монастыря, который служил жилищем королевской семье.

Бухарест—город быстрого богатства, и современная румынская цивилизация тоже такова—выскочка, выросла за тридцать лет. Плодородная равнина—одно из наиболее урожайных мест на свете; горы покрыты великолепным строевым лесом; но главный источник богатства—это месторождения нефти. В Румынии уже есть нефтяные короли, короли леса и земли, разбогатевшие быстро и сказочно. Жизнь в Бухаресте стоит дороже, чем в Нью-Йорке.

Ничего оригинального, ничего своего нет в этом городе. Все заимствовано. Ничтожный маленький немецкий король живет в ничтожном маленьком дворце, который похож на французскую префектуру, окруженный маленьким пышным двором. Правительство построено по образцу бельгийского. Хотя все дворянские титулы, кроме непосредственной королевской фамилии, были упразднены уже давно, многие люди называют себя «князьями» или «графами» только потому, что их прадеды были молдавскими или валахскими боярами, не говоря уже, конечно, о фамилиях, которые «ведут свой род» от византийских императоров! И поэты, и артисты, и музыканты, и доктора, и юристы, и политики—все они получали образование в Париже и только позже в Вене, Берлине или Мюнхене. Кубизм более кубичен,

и футуризм более футуристичен в Румынии, чем у себя на родине.

Офранцуженный маленький полицейский ругает возвращающихся с базара крестьян, которые посмели направиться по улице Виктории и затормозили процессию содержанок.

Кабарэ и мюзик-холлы похожи на наименее интересные увеселительные места Монмартра. Вы можете посмотреть ревю, обозрения, глупо передразнивающие французские, скопированные, рискованные комедии, взятые прямо из театра Антуан, или зайти в Национальный Театр, который подражает Французской Комедии и похож на городской театр в Лионе. Везде поверхностное заимствование французского легкомыслия.

Если вы хотите разозлить румына, вам достаточно только заговорить о его стране, как об одном из балканских государств.

— Балканы!—закричит он.—Балканы! Румыния вовсе не балканское государство. Как вы смеете смешивать нас с полудикими греками или славянами! Мы латиняне.

И вам постоянно напоминают об этом. Изо дня в день газеты трубят о том, что румыны—латиняне; каждый день можно прочесть в них что-нибудь относящееся к «нашим братьям французам», или испанцам, или итальянцам,—на самом же деле в румынах течет кровь не этих «братьев», а скорее потомков римских ветеранов, заселивших Трансильванию при императоре Траяне. Некоторые из местных писателей самодовольно утверждают, что Румыния является наследником Римской империи; на площади в Бухаресте есть фонтан, изображающий Ромула и Рема, которых кормит грудью волчица, а некоторые общественные здания украшены знаками

римских ликторов и римскими орлами. Но эти римские колонисты в действительности могли быть призванными в легионы из Тарса, или окрестностей Иерусалима, или южной Германии. Прибавьте к этому кровь туземных даков, значительную примесь крови славян, мадьяр, валахов и порядочную дозу цыганской—и вы получите румына... Он говорит на латинском языке, сильно сдобренном славянскими и азиатскими корнями—на языке негибком для произношения, неприятном и немузыкальном для слуха. У него латинские черты: возбождаемость, прямота, остроумие и страсть истерически спорить в критические минуты. Он ленив и горд, как испанец, но без испанского «букета»; он скептичен и распущен, как француз, но без французского вкуса; мелодраматичен и эмоционален, как итальянец, но без итальянского очарования. Один остроумный наблюдатель назвал румын «плохими французами», а другой—«итальянизированными цыганами». Лавочники, извозчики и лакеи в ресторанах вороваты и неприветливы,—если им не удается обсчитать вас, они обрушиваются на вас с неистовой яростью и визжат, как рассерженные обезьяны. А как часто мои знакомые румыны говорили мне: «Не ходите в такой-то и в такой-то магазин—это румынский, и там обжулят вас. Найдите лучше немецкий или французский».

Могут сказать, что я судил о румынах по населению Бухареста, а что Бухарест еще не вся Румыния. Но я утверждаю, что во всех странах столицы отражают господствующие черты нации, что Париж по существу есть Франция, Берлин по существу Пруссия, а Бухарест—Румыния.

Иногда на улицах попадаются крестьяне—мужчины в белых холщевых штанах и длинных, до колен, рубахах, вышитых изящным цветным рисунком, а женщины в пестро разукрашенных холщевых юбках, в рубашках, превосходно отделанных цветной мережкой, и с ожерельем из золотых монет, висящим на шее. Они подходят к этому опереточному окружению. Но один час езды на автомобиле от Бухареста, и вы попадаете в деревню, где люди живут в землянках, в избах, крытых соломой.

Земля, в которой вырыты эти землянки, принадлежит «боярам»,—землевладельческому сословию,—содержащим беговые конюшни во Франции, и крестьяне обрабатывают для них эту землю. Только два процента населения умеют читать и писать. Нет школ. Много лет тому назад один помещик построил для крестьян школу на том условии, чтобы правительство взяло ее в свои руки и содержало. И вот уже три года, как эта школа превращена в склад.

Крестьяне эти ничего кроме кукурузы не едят,—не потому, что они вегетарианцы, а потому что они слишком бедны, чтобы есть мясо. Церковь предписывает частые посты, что является предметом похвальных разглагольствований сытых землевладельцев на тему о «воздержании и бережливости». Крестьяне очень религиозны, или суеверны,—называйте это, как хотите. Они, например, убеждены, что если человек умирает без зажженной свечи в руках, которая освещает ему путь по темным коридорам смерти, то он не сможет попасть на небо. Но сколько людей умирает внезапно, без зажженных свечей! И тут-то на помощь приходит церковь. Деревенские попы берут с семьи такого умершего

восемьдесят франков за доставку его на небо без свечи и, кроме того, определенную сумму ежегодно за его содержание там. Попы извлекают также доходы и из легенды о вампирах—суеверия, широко распространенного в Венгрии, на Балканах и в южной России.

Если за умершим крестьянином быстро и последовательно отправляются другие из его семьи или деревни, то попы объявляют, что душа умершего человека—вампир. Дабы утолить кровожадную душу, нужно, чтобы священник во мраке ночи (так как это строго запрещено румынским уголовным кодексом) откопал труп и проткнул деревянным гвоздем вырванное из него сердце. За это он берет сто франков.

Однажды я отправился на север с ночным поездом, к которому был прицеплен собственный вагон кронпринца. Была холодная ночь, ветер пронизывал до мозга костей. Однако всю ночь мы видели из нашего окна шеренги жалких, оборванных крестьян, стоявших через каждые четверть мили у полотна железной дороги. Дрожа от холода, они высоко над головами держали факелы—воздавали честь своему «наследнику»...

Никогда еще страна не была столь готова к революции. Больше пятидесяти процентов пахотной земли принадлежит меньше чем десяти процентам землевладельцев страны — около четырех тысяч крупных помещиков из семи с половиной миллионов населения, семь восьмых которого — трудовое крестьянство. И это несмотря на то, что правительство разрушило крупные владения и со времени 1864 года продавало землю крестьянам. «Бояре» и крупные помещики редко живут в своих имениях. Они, разумеется, и не могут поступать иначе, чтобы содержать свои отели в Париже и Вене,

свои дома в Бухаресте, свои виллы в Ницце, Констанце и Синайе, оплачивать зимний сезон на Ривьере, картинные галлереи, скаковые конюшни и вообще бросать деньги на ветер в четырех частях света.

Я знал одно семейство, которое кичилось своей необыкновенной гуманностью на том только основании, что оно устроило для своих крестьян гнилые лачуги и платило за работу двадцать центов (около сорока копеек) в день,—и это при почти такой же дороговизне, как в Нью-Джерсее. Прибавьте к этому безнадежному положению вещей то обстоятельство, что все выборщики в Румынии разделены на три класса в зависимости от их дохода, так что один голос самостоятельного человека равен ста крестьянским голосам.

В Румынии бывало много революций. Последняя—чисто аграрная—была в 1907 году. Но со времени введения обязательной воинской повинности легко заставить крестьян с юга стрелять в их северных братьев и наоборот. Достаточно только посмотреть на румынских крестьян, кротких, покорных, с почти женственными манерами и одеждой,—даже их национальные песни и танцы красивы и мягки,—чтобы понять, сколь тяжело угнетение, способное побудить их к восстанию.

Какого направления держится румынское общественное мнение? Но в Румынии нет общественного мнения. Крестьяне будут драться за любого хозяина, который сможет дать им наибольшее количество земли. Еще лишний показатель того, как страна, связанная по рукам и ногам благодаря обязательной воинской повинности, отдается честолюбивым политиканам. Если вы спросите политиков, они вам ответят, что Румыния выберет ту

сторону, которая будет удовлетворять «национальным стремлениям»—как называется алчность на Балканах.

Румыны вышли первоначально из Трансильвании и заселили плоскую равнину к северу от Дуная, которая заключает в себе Бессарабию и тянется на восток к Черному морю. Народ пастухов и земледельцев раскинулся широко: Южная Буковина полна румынами, и обособленные группы их можно найти повсюду в Болгарии, Сербии, Банате, Македонии и Греции. Наиболее цивилизованная часть, Трансильвания, была когда-то включена в Венгерское королевство; Буковина—подарок турецкого султана императору Иосифу, а Бессарабия была окончательно забрана Россией после битвы под Плевной. Румыния ударила в спину Болгарии в 1913 году и отняла у нее Силистрию, в которой совсем не было румынского населения. Когда нет никаких оправданий для территориальных захватов, то такой вид «национальных стремлений» объясняется на Балканах «стратегическими соображениями».

В Трансильвании, месторождении этого народа, и в расположенном рядом с ней Банате—около трех миллионов румын. Но там, несмотря на отчаянные старания Венгрии омадьярить население, национальные чувства сильны и растут. Население Трансильвании богато и образовано. Когда румынский язык был запрещен в высших школах и церквах, жители Трансильвании повели упорную борьбу, переваливая через горы в Румынию для получения образования и так успешно ведя националистскую пропаганду у себя и за границей, что каждый румын знает и чувствует своих братьев по ту сторону Карпат, и вы можете проехать через всю Венгрию, по крайней мере до Будапешта и прилегающих

к нему местностей, не говоря ни на каком языке, кроме румынского.

Так «национальные стремления» Румынии, на «этнографической основе», включают Бессарабию, Буковину, Трансильванию и Банат; но в Бухаресте я видал и такую карту, на которой была заштрихована Македония,—чтобы показать, что она на самом деле должна принадлежать Румынии, так как большинство населения там—румыны!

Все это ни в коей мере не возбуждает у крестьян охоты принять участие в войне с той или другой стороны. Но там ведется ожесточенная борьба между политическими сторонниками тевтонцев и союзников. Сколько темных дельцов успело разбогатеть за кулисами политической жизни! Балканская политика в значительной мере зависит от личных видов; газеты являются органами отдельных лиц, назначивших сами себя партийными лидерами,—и это в стране, где новые партии родятся ежечасно за кружкой пива в ближайшем кафэ. Например, «La Politique» («Политика»)—орган миллионера Маргиломана, недавнего вождя консервативной партии, положение которого теперь сильно поколебалось. Он так рьяно выступал за французскую ориентацию, что злые языки поговаривали, будто он посылал свое грязное белье стирать в Париж,—но его заполучили немцы. Его союзнические избиратели раскололись при Филипеску, неистовом враге Германии, у которого есть свой орган—«Journal des Balkans» («Балканская Газета»)... Кроме того, есть еще «Independens Roumaine» («Независимая Румыния»), принадлежащая семье премьер-министра Братиану, председателя либеральной партии, находящейся сейчас у власти, который в начале войны был германофилом, но

затем стал умеренным сторонником союзников, и «La Roumaine» («Румыния»), орган Таке Ионеску, вождя консервативных демократов, который является в стране наиболее влиятельной силой, выступающей на стороне союзников. Консерваторы—это крупные помещики, либералы, это капиталисты. Консервативные демократы—почти то же самое, что у нас (в Америке) прогрессисты. Крестьянская социалистическая аграрная партия в счет не идет. Но все внутренние программы были забыты перед вопросом: на чьей стороне выступит Румыния в этой войне?

Два года тому назад король Карл созвал в Синайе совещание министров и партийных вождей и произнес речь, в которой защищал немедленное выступление на стороне центральных держав. Но когда дело дошло до голосования, то только один из участников совещания поддержал короля. Это был первый случай за все время его царствования, когда ему посмели противоречить, и несколько дней спустя, не успев вернуться в столицу, он умер. Фердинанд, теперешний король, находится в таком же положении, и даже в еще более затруднительном, так как женат на англичанке. Через голову короля и народа разыгрываются жаркие битвы между могущественными финансовыми интересами и амбицией политических жуликов.

Между тем непрерывный поток русского золота наполнял жаждавшие карманы, а постоянные методические тевтонцы создавали общественное мнение своим собственным неподражаемым способом. Тысячи немцев и австрийцев, одетых по-праздничному и с портфелями, разбухшими от денег, обрушились на Бухарест. Гостиницы были полны ими. Они занимали лучшие места на

всех театральных представлениях, неистово аплодируя немецким и румынским пьесам и освистывая французские и английские. Они издавали германофильские газеты и бесплатно раздавали их крестьянам. Они скупили рестораны и казино, столь дорогие румынскому сердцу. Магазины наводнили по пониженным ценам германскими товарами. Они содержали всех девиц, закупили все шампанское, подкупили всех государственных чиновников, до которых только могли добраться. Широкая национальная агитация началась с «наших бедных угнетенных братьев в русской Бессарабии»—для того, чтобы отвлечь внимание от Трансильвании и возбудить антирусские чувства.

Германия и Австрия сулили румынскому правительству Бессарабию, включая даже Одессу, и Буковина была бы тоже уступлена, если бы Румыния на этом настаивала. Союзники же обещали Трансильванию, Банат и плоскогорье Буковины к северу от румынской ее границы. Если даже и было много разговоров в прессе о «спасении потерянной Бессарабии», бессарабский вопрос был, по правде говоря, совсем не жизненен, в то время как трансильванский вопрос был жгуч и безотлагателен. Кроме того, румыны понимали, что Россия—страна растущая, и что спустя сорок лет, даже если бы она потерпела поражение в этой войне, она все равно стала бы такой же, а пожалуй, и еще сильней. В то же время Австро-Венгрия—старая, разлагающаяся империя, которая не может расширяться на восток.

Трижды со времени начала войны пыталась Румыния выступить на стороне союзников, и трижды она отступала: однажды, ранней весной, когда русские были на Карпатах; затем—когда вступила в войну Италия,

и последний раз, когда я видел Таке Ионеску, в полночь того дня, когда Болгария подписала свое соглашение с Турцией.

— Я думаю, что Болгария решилась,—произнес он очень важно.—Мы не такие дети, чтобы поверить, что Турция может задаром уступить какую-нибудь часть своей территории. Центральные державы пройдут через Сербию,—только мы можем помешать этому. И я должен сказать вам, что Сербия может потребовать нашей помощи, если она подвергнется нападению. Австрийцы закрыли свою границу для нас, и четырехсот-тысячной армии приказано быть готовой к походу на Бухарест. Это утка,—утка, пущенная для того, чтобы ускорить отставку кабинета Братиану и призвать Маргилюмана для составления нового кабинета, что означало бы проведение германской политики. Если даже кабинет Братиану падет,—в чем я однако сомневаюсь, так как он не за войну,—только он и король, при совместной работе, могли бы проложить путь Маргиломану. А это невозможно.

Спустя три недели началось германское наступление на Сербию. И Румыния еще раз осталась в стороне.

БОЛГАРИЯ ВСТУПАЕТ В ВОЙНУ

Но все же ключ к Балканам—это Болгария, а не Румыния.

Выехав из Бухареста в грязном, маленьком поезде, вы медленно ползете на юг по жаркой равнине, минуя жалкие лачуги деревень, слепленные из глины и соломы, точно жилища какого-нибудь дикого племени Центральной Африки. Тихие, покорные крестьяне стоят, тупо уставившись на паровоз. Поезд останавливается на каждой крошечной станции, как будто румынские власти хотят этим показать свое презрительно-равнодушное отношение ко всем едущим в Болгарию. В Джурдже вас ждет неуместно строгий осмотр, производимый мелкими деспотами—таможенными чиновниками, которые стараются доставить вам при выезде из страны как можно больше неприятностей.

По ту сторону желтого Дуная—другой мир. Пароход еще на сотню футов от пристани, а уж кто-то приветствует вас с широкой улыбкой,—коренастый, смуглый полисмен, побывавший в Америке, которого я случайно встретил раз, проезжая по Болгарии два месяца тому назад.

Добродушные, неуклюжие солдаты делают вид, что осматривают ваш багаж, и приветливо улыбаются. Пока вы стоите около багажа, к вам подходит хорошо

одетый незнакомец и говорит по-французски: «Вы ведь иностранец? Чем я могу вам быть полезным?» Не думайте, что это гид, нет, это такой же пассажир, как и вы, но он болгарин, а следовательно—приветлив и любезен. Приятно видеть опять простые, широкие, искренние лица горцев—свободных людей, и вновь услышать резкие и мужественные звуки славянской речи. Болгария—единственная известная мне страна, где вы можете обратиться к любому прохожему на улице и всегда получите радушный ответ, где лавочник, давший вам неверно сдачу, пойдет за вами в гостиницу, чтобы вручить вам три—четыре цента.

Велика была наша радость, когда мы вновь почувствовали себя в стране «настоящих», честных людей.

Поезд пробирается вверх, минуя Рущук,—полутурецкий с его минаретами, широкими черепичными крышами, крестьянами, разряженными в широкие шаровары, красные кушаки и тюрбаны,—и въезжает в полосу мощных предгорий, вздымающихся все выше к югу, по направлению к хребту.

Мимо нас проезжает свадебная процессия на четырех телегах, на волах. Телеги битком набиты кричащими и поющими мужчинами и девушками; в руках у них весело развеваются бумажные флаги и ленты, и вся толпа горит на солнце пестротой своих нарядов, белизной рубашек и золотом запястий и ожерелий. Впереди на осле едет человек, бьющий в большой барабан, и целый отряд молодых всадников гарцует по полю, крича и стреляя в воздух...

Наступает ночь, холодная ночь горных высот, и вы просыпаетесь утром, торопливо спускаясь вниз по извивающемуся узкому ущелью, рядом с шумливым горным

потоком, среди высоких скал, покрытых кое-где пятнами пастбищ, на которых пастухи в домотканной коричневой одежде пасут коз, вырисовывающихся стройными силуэтами на фоне неба. Вы спешите мимо лощин, где примостились маленькие деревеньки, совсем турецкие по виду: мелькают красные черепичные крыши, затененные густой зеленью фруктовых деревьев. Наконец горы расступаются, и вы видите Софию, увенчивающую собой небольшой холм, похожую на игрушечный городок красного и желтого цвета, возглавляемую золотым куполом собора, с нависшей над ней тенью гор.

Как поразительно несходны между собой Бухарест и София! Прозаичный, скромный городок, улицы его окаймлены практично выглядящими некрасивыми домами и вымощены булыжником. Над головой бегут телефонные провода, везде снуют и звонят трамваи. Вы могли бы принять его за кипящий деловой жизнью новый городок Западной Америки, если бы не встречали кое-где древней мечети или развалин византийских построек, если бы вам на глаза не попадались грязные площади, переполненные сидящими на корточках крестьянами в тюрбанах. Есть только один отель, где фактически останавливаются все приезжие,—это «Grand Hôtel de Bulgarie» рядом с «Grand Cafè de Bulgarie», где журналисты выдумывают новости, магнаты устраивают заговоры и всяческие комбинации, адвокаты занимаются шантажом, а политики свергают министров. Если вы желаете получить интервью с премьером или с одним из министров (а в одном случае, который я знаю—даже с королем), вы просто адресуетесь в «Гранд-Отель» к мальчику-слуге и просите его вызвать нужное лицо к телефону. А если вы не хотите этого сделать—просто займите столик

в «Гран-Кафэ»,—все они, наверно, зайдут туда в течение дня...

София—маленький городок, радушный и доступный. Непритязательный царский дворец расположен как раз в центре, национальный театр—кварталом дальше, парламент или собрание—через два квартала в другом направлении, а рядом с ним—министерство иностранных дел, собор и святейший синод. Все сколько-нибудь значительные люди живут здесь.

К вечеру горожане наряжаются в лучшее платье и прогуливаются по Улице «Царя-освободителя» до Парка «Принца Бориса».

Это—торжественный семейный парад деревенских жителей с женами, дочерьми, возлюбленными и ребятишками. Женщины одеты по прошлогодней деревенской моде. В толпе много офицеров, одетых в ловко сшитую, практичную форму, созданную для походной жизни, и умеющих, как видно, воевать.

Отряды дюжих солдат в островерхих шапках тяжело шагают по мостовой, распевая протяжные, похожие на гимны, песни, вроде тех, которые вы слышите в русской армии...

С темнотой становится холодновато, так как София лежит на тысячу футов над уровнем моря, и ровно в восемь толпа расходится по домам ужинать. Нет ни одного ресторана, помимо отеля, пища очень проста и непритязательна; яичница с ветчиной и шпинат—вот любимые болгарские кушанья. Позднее вы можете сидеть в национальном казино, в общественном саду и пить пиво под звуки хорошего военного оркестра, или вы можете слушать бесконечные болгарские диалоги в городском театре. Имеется один мюзик-холл, под

названием «Новая Америка»,—мрачное место, где тяжеловесные комики и плохо сложенные танцовщицы приводят в восторг раскатисто хохочущих крестьян, приехавших в город покутить.

Число лиц, говорящих по-английски, изумительно. Почти все политические лидеры получили образование в Робертс-Колледже—американской миссионерской школе в Константинополе. Робертс-Колледж имел такое сильное влияние в Болгарии, что после объединения страны и основания королевства в 1885 году он был провозглашен «колыбелью болгарской свободы». Вот почему в Софии так много американского и почему в болгарской политике так видны американские методы—хотя бы в деле взяточничества. Но имеются и другие, еще более могущественные влияния. Болгария—ближайшая к Константинополю страна и была подвластна туркам дольше, чем другие страны на Балканах. Язык полон турецкими словами, а жизнь—турецкими обычаями. Затем Россия освободила Болгарию, и это повернуло весь ход болгарского развития в сторону ее мощного славянского брата. Существовали также группы интеллигентов, боровшихся за освобождение Македонии, впитавших республиканские идеалы во Франции. Болгарские офицеры, ученые, учителя, журналисты и политики учились за последние пятнадцать лет почти исключительно в Германии.

В часе езды на автомобиле от Софии лежит типичное болгарское село. Полями вокруг него владеют сообща все его жители и они же их возделывают. Исключением являются монастырские земли на холме.

Бурливый горный поток, ниспадающий в ложбину, заставляет вертеться колеса четырнадцати мельниц, на которых крестьяне перемалывают свое зерно. Так как все мельницы работают по одной цене, и та из них, которая расположена всех выше, стоит почти всегда без работы, то крестьяне пришли к соглашению и совместно с монахами решили упразднить все четырнадцать мельниц и построить одну большую, электрическую и находящуюся в общем владении.

Большие, удобные дома с красными черепичными крышами и деревянными или каменными стенами выстроились вдоль широких, мощеных улиц. Жители кажутся довольными и зажиточными, так как в Болгарии каждый крестьянин имеет право владеть пятью акрами земли, составляющими его неотъемлемую собственность; здесь, так же, как и в Сербии, нет богатых людей.

В конце улицы расположена большая, прекрасная школа, где преподают учителя, получившие образование в Германии.

Село связано с городом телеграфом, телефоном, железной дорогой и шоссе. Такое наличие организации и прогресса видно по всей Болгарии.

Болгары в общей массе лояльны, честны и легко поддаются дисциплине, в противоположность анархически настроенным сербам. Века турецкого гнета помогли им стать послушными в руках организатора.

Я знаю три насмешливых притчи, рассказываемых о болгарах крестьянами других балканских стран в течение семисот лет—они иллюстрируют характер болгарина лучше, чем все, что я мог бы сказать.

Болгарин, косивший свой луг до позднего вечера, отправился домой, вскинув косу на плечо. Подойдя

к колодцу, он нагнулся и увидел в нем отражение луны. «Боже милостивый!—воскликнул он.—Луна упала в колодезь, я должен спасти ее». Он сунул косу в колодезь и потащил, но коса зацепилась за камни на дне колодца. Он все тащил, тащил и тащил. Вдруг камень сорвался, и он упал навзничь. Над ним в небе сияла луна. «Вот,—сказал он, облегченно вздохнув,—наконец-то я ее выручил».

Четыре болгарина, идя по полю, подошли к иве, склонившейся над прудом. Ветер шелестел листьями, и крестьяне остановились послушать. «Дерево разговаривает»,—сказал один. «Что оно там толкует?»—спросил другой. Остальные два почесали головы. «Ему, наверно, пить хочется»,—сказал один из них. Исполненные жалости к бедному, жаждущему дереву, болгары залезли на ветку и постарались окунуть ее в воду. Ветка сломалась, и они все утонули.

Болгарская армия, как говорится в рассказе, в течение двух лет осаждала Константинополь без малейшего результата. Был созван совет, на котором решили снести стены города. Для этого солдаты окружили город, привязали себя к стенам и начали тянуть. Они тянули и потели изо всех сил, тянули так сильно, что их ноги начали врастать в землю. Почувствовав, что что-то начинает поддаваться их усилиям, вся армия закричала: «Держись! Еще наддай немножко! Тащи! Она задвигалась».

Первоначально болгары были монгольским племенем, они завладели Балканским полуостровом в седьмом столетии и смешались со славянами, которых там нашли. При легендарном царе Симеоне они путем завоеваний

создали кратковременную «империю», границы которой простирались от Адрианополя к устью Дуная, к северо-западу она включала всю Венгрию и Трансильванию, а к югу шла до Адриатики, захватывая Боснию, Герцеговину, Черногорию, Сербию, Албанию, Элир и Фессалию, а на востоке Фракию. Двести лет спустя такая же «империя» была основана тоже легендарным сербским царем Душаном, при чем она занимала ту же территорию, и царь Душан покорил болгар. В тринадцатом столетии настало опять господство болгар, а в четырнадцатом—пришел черед сербов.

Дважды за это время болгары осаждали Византию. Я упоминаю обо всем этом, чтобы разъяснить болгарские «национальные чаяния» на «историческом основании». Подобно всем балканским «чаяниям», они безграничны.

Но в общем болгары очень простой и бесхитростный народ. Зачем же они нарушили балканский союз и вызвали вторую балканскую войну?

Во всем этом виноваты «чаяния».

Македонский вопрос был причиной каждой крупной европейской войны за последние пятьдесят лет, и пока он не будет разрешен, не будет прочного мира ни на Балканах, ни за пределами их. Македония—это самое ужасное смешение рас, какое только можно себе представить: турки, албанцы, сербы, румыны, греки и болгары жили и живут там бок-о-бок, не сливаясь. На пространстве в пять квадратных миль вы найдете шесть деревень шести различных национальностей—каждая со своим особым укладом, особыми обычаями, языком и традициями. Но громадное большинство населения Македонии—болгары. До первой балканской войны не было

ни одного интеллигентного серба или грека, который стал бы это отрицать. Почти все великие люди Болгарии вышли оттуда. Болгары были первыми, во времена турецкого владычества, основавшими национальные школы. И когда болгарская церковь восстала и откололась от константинопольского патриарха, турки разрешили им учредить в Македонии свои епархии—настолько очевидно было, что эта страна болгарская. Честолюбивые сербские националисты, следуя примеру болгар, основывали школы в Македонии и посылали туда «комитаджи» для борьбы с болгарским влиянием, но в течение целого столетия сербские ученые и политические деятели признавали, что Македония населена болгарами. Сербы не распространялись к югу, они пришли с севера и распространились на восток—на Боснию, Герцеговину, Далмацию и за Триест,—вожделения направлены в эту сторону.

В течение последних лет балканской неразберихи и сумятицы при оттоманской власти, когда «великие державы» тщетно пытались произвести реформы в европейских вилайетах и когда начал уже намечаться конец Турецкой империи, Греция также стала посылать в Македонию «комитаджи» для ведения подпольной борьбы с сербами и болгарами, в надежде получить в конечном счете кусок покрупнее. Но вплоть до балканской войны ни один сознательный грек не осмеливался признавать Македонию греческой иначе как в историческом аспекте. Греция высказывала права на Константинополь, часть Фракии, Малую Азию и европейское побережье Эгейского и Черного моря, только потому, что там когда-то жили греки. Но и только.

Даже в договорах балканского союза, предшествовавшего войне 1912 года, Сербия признавала Македонию болгарской. Милованович, сербский премьер, принимавший участие в составлении договора, сказал: «Есть области, принадлежность коих к той или иной стране совершенно бесспорна. Адрианополь должен отойти к Болгарии; Старая Сербия, к северу от гор Шар-Планина, должна быть сербской. Бо́льшая часть Македонии будет болгарской. Но узкая полоса восточной Македонии должна быть отдана Сербии. Самое лучшее—предоставить этот раздел России в качестве арбитра». Это было все включено в договор. Греция также признала принцип болгарского господства.

Когда разразилась балканская война, Болгария со своей превосходной армией должна была выставить надежный заслон в Македонии и помочь Сербии, в случае, если последней придется туго. Но на самом деле как раз Сербия принуждена была послать подкрепление болгарам во Фракию. Сербы назвали это «первым нарушением договора». После падения Адрианополя болгары продолжали наступать, изумленные своим успехом. Они предполагали остановиться на линии, проведенной через Мидию, Черное море до Эноса на Эгейском море. Но турки так отчаянно пытались заключить мир, что они нарушили перемирие и двинулись прямо на Константинополь. Их остановила только Чаталджа, и они, вероятно, взяли бы и ее, если бы события в их собственном тылу не приняли угрожающего оборота.

Между тем греки и сербы, которые заняли всю Македонию, Эпир и Фессалию, лениво следили за возрастающими притязаниями болгар. В балканском договоре не было ничего, что могло бы дать Болгарии право на

захват столицы восточного мира. Сербия и Греция совместно завоевали западные вилайеты и совершенно не желали уступать вновь завоеванную территорию какой бы то ни было могущественной балканской империи, поэтому они заключили тайный договор и начали преспокойно «грекофицировать» и «сербизировать» свои новые владения. Тысячи греческих и сербских публицистов начали кричать на весь мир об исключительно греческом или сербском характере населения различных областей Македонии. Сербы дали злосчастным македонцам двадцать четыре часа времени для того, чтобы отказаться от своей национальности и провозгласить себя сербами; греки не отставали от них в этом отношении. Отказ был равносилен смертному приговору или изгнанию. Греческие и сербские переселенцы были водворены на новых местах, и им была отдана в собственность земля бежавших македонцев. Болгарские учителя безжалостно расстреливались. Греческие газеты начали писать о Македонии, как о стране, населенной исключительно греками, а тот факт, что никто в ней не говорит по-гречески, они объяснили тем, что дали населению Македонии название греков-«болгарофонов» или греков-«влахофонов». Сербы были более дипломатичны— они называли население «македонскими славянами». Когда греческая армия вступала в деревню, где никто не умел говорить по-гречески, офицеры с руганью набрасывались на крестьян. «Как вы смеете говорить по-болгарски?—кричали они. — Это Греция, и вы обязаны говорить по-гречески». Отказ означал смерть или бегство.

Болгария заключила поспешный мир с турками и обратила свое внимание на запад. Сербы и греки отвечали

уклончиво и указывали на то, что балканский союз был нарушен самими болгарами. Болгария апеллировала к России, прося ее быть арбитром. Но Сербия, завоевавшая в этой войне гораздо больше, чем ей когда-либо снилось, поняла, что у нее имеются два могущественных друга, а именно: Россия, встревоженная безграничными притязаниями своей протеже—Болгарии, и Австрия, не желавшая возникновения могущественного государства на Балканах. Николай II согласился наконец быть арбитром в этом вопросе, но как раз в тот момент, когда два делегата готовы были выехать в Петербург, Болгария предприняла шаг, который не только оправдал тревогу «великих держав», но также настроил враждебно против нее весь мир и лишил ее Македонии. Ее армии, без всякого предупреждения, атаковали сербов и греков и двинулись на Салоники. Никто не спросил совета болгарского народа. Кабинет, стремившийся к примирению, был как громом поражен этим известием.

В Софии царило возмущение и изумление. Кто отдал приказ? Было только одно лицо, которое могло это сделать,—это король Фердинанд.

Король Фердинанд большой романтик—он вечно воображает себя въезжающим в Константинополь на белом коне, вечно мечтает быть царем огромной, воинственной страны. Когда я пишу эти строки, он опять вовлек свой народ в гибельную войну, из которой тот может выйти только побежденным и проигравшим.

Я был свидетелем всего этого. Я был в Софии, когда державы Антанты прислали свои предложения, и видел все, что происходило, до самого конца. Союзники предлагали, как плату за вступление в войну, всю сербскую Македонию до гор Шар-Планина, Фракию и

дипломатическую поддержку для получения греческой Македонии и Силистрии. Центральные державы давали всю Македонию, часть Сербии, Силистрию, свободный доступ к Кавале и Салоникам и кусок Турции, который должен быть уступлен немедленно. Германия предлагала Болгарии осуществить соединение с немецкой армией, пройдя сербскую Македонию, и затем сейчас же сосредоточить все внимание на оккупации этих территорий, между тем как союзники хотели, чтобы она атаковала турок и ждала компенсации до окончания войны. Болгары требовали немедленной оккупации... Союзники ответили, что они гарантируют ей обещанную территорию, в целях чего займут линию Вардара союзными войсками. Но болгарское правительство скептически относилось к обещаниям, исполнение которых откладывалось до «после войны».

Премьер Радославов сказал 15 июля:

— Болгария готова вступить в войну, как только ей будут даны абсолютные гарантии в том, что она достигнет осуществления своих национальных идеалов. Эти идеалы, главным образом, заключаются в обладании сербской Македонией с ее полуторамиллионным болгарским населением. Она должна была быть отдана и обеспечена за нами по окончании первой балканской войны; по праву национальности. Когда державы тройственного союза смогут обеспечить нам обладание этой территорией, а также обеспечить наши второстепенные требования в греческой Македонии и иных местах, они найдут нас готовыми выступить на их стороне. Но эти гарантии должны быть вполне реальны и абсолютны. Гарантии, изложенные лишь на бумаге, не могут быть приняты. Только твердая уверенность в осуществлении

своих национальных идеалов может заставить наш народ снова проливать свою кровь.

В этом вопросе народ был на его стороне, так как среди болгарского крестьянства существует очень определенное общественное мнение. Во-первых, более полумиллиона болгар бежало из Македонии от преследования греков и сербов; они рассеялись по селам и деревням, проповедуя всюду освобождение своей страны. В середине лета половина населения Софии состояла из македонских беженцев, и вы могли видеть на окраинах города лагери, где пятнадцать тысяч этих беженцев ютились в палатках, причиняя правительству большие расходы и беспокойства.

Когда я находился в Софии в сентябре, туда прибыла партия в пять тысяч болгар, захваченных в плен австрийцами. Они были принуждены служить в сербской армии и теперь были пересланы обратно в Болгарию с приветствием императора Франца-Иосифа. Каждый день газеты были полны горькими рассказами беженцев о притеснениях и насилиях, чинимых сербами, и выражением ненависти к сербам. Сербская пресса не оставалась в долгу, обвиняя болгар в нападениях и налетах на пограничные местности, в убийствах и поджогах. Обе стороны были правы. В противовес этой ненависти, среди крестьянства была очень сильна традиционная любовь и благодарность к России-освободительнице, были живы еще те люди, которые помнили, как русские солдаты дрались с турками.

Болгарские государственные деятели, так же, как и румынские, преследуют в политике осуществление личного честолюбия и личной выгоды, с той только разницей, что в Болгарии они должны подлаживаться

к народу и находятся в подчинении у безответственного и недобросовестного человека, обладающего всей полнотой королевской власти. Все болгары были согласны по вопросу о возврате Македонии, разногласия были только в том—какая именно группа держав может действительно осуществить это. Как мне сказал Джозеф Хербст: «Если бы зулусы могли нам возвратить Македонию, мы выступили бы с зулусами». Между двумя партиями последовала ожесточенная борьба—борьба между ненавистью к сербам и любовью к русским.

Правительство Радославова сотню раз высказывало свою приверженность центральным державам, так, например, оно дало возможность военной цензуре запретить шесть газет, стоящих на стороне «союзников», под тем предлогом, что они «подкуплены на русские деньги».

По соглашению всех политических партий, с возникновением европейской войны вся власть была предоставлена правительству. Собрание было распущено на неопределенный срок. Но так как симпатии правительства определились вполне ясно, то оппозиция потребовала созыва парламента для рассмотрения положения в стране. Король решительно отклонил это требование, так как он был уверен в том, что большинство народа все же стояло на стороне «союзников».

Доведенное до отчаяния либеральное правительство решило прибегнуть к трюку. Провинции Новой Болгарии в первый раз выбирали депутатов, и народ так обошли, что все двадцать депутатов оказались либералами. Что́ на самом деле думали об этом избиратели, видно из того факта, что когда доверенное лицо было послано на юг, чтобы разузнать, на чьей стороне предпочли бы крестьяне воевать, они ответили угрожающе:

«Дайте нам сначала ружья, а уж мы вам покажем, на чьей стороне будем драться». Однако, несмотря на эти двадцать депутатов, все же большинство было против немцев, когда Болгария вступила в войну.

Когда я проезжал через Софию в середине августа, сторонники «союзников» ликовали. Геннадиев, лидер стамбуловцев, повидимому, думал, что Болгария примет последнее предложение, сделанное державами Антанты, на которое Сербия дала условное согласие. Гешов, вождь националистов, говорил о демонстрации, которую готовит оппозиция, чтобы принудить к созыву собрания. А Малинов, член демократической партии, полагал, что его страна достаточно осведомлена о том, насколько гибельна для болгарского господства на Балканах тяга Германии на восток.

Но когда я вернулся двумя неделями позже, все изменилось. Герцог Мекленбургский дважды посетил короля, и тайный турецко-болгарский договор был подписан. Прибыл первый взнос огромного золотого займа, даваемого Германией, и Гешов сказал мне, что центральные державы побуждают Болгарию напасть на Румынию, в случае, если бы попытки переговоров между Австрией и Сербией сорвались.

— Если немцы подойдут к нашей границе, пройдя через Сербию,—сказал мне Геннадиев,—что может сделать против них наша маленькая армия? Мы вовсе не хотим быть второй Бельгией.

Политический деятель, говоривший недавно с горячей похвалой о любви крестьян к России, казалось, очень остыл на этот счет.

— Крестьяне — простодушные люди,—говорил он,— они помнят Россию-освободительницу, но недостаточно

умны для того, чтобы понять, что освобождение Болгарии было для России только шагом по направлению к Константинополю. Мы с вами ясно это видим и понимаем, что крестьяне поступят так, как им велят. Народу нужны заботливые и предусмотрительные руководители.—И он ушел с важным, многозначительным видом.

В начале сентября ополчение, или Македонский легион, состоящий из беженцев, был призван на военную службу для «шестинедельного обучения». Никто не обманывался на этот счет. Правительственная пресса удвоила свои злобные выпады против сербов, крича: «Македонцы! Пробил час, когда вы должны освободить свою страну от поработителей».

Было призвано шестнадцать тысяч македонцев, а отозвалось шестьдесят тысяч, а также около пятнадцати тысяч албанцев и десяти тысяч армян, которым дали приют в Болгарии от преследования турок. Была организована большая демонстрация с истинно-болгарской добросовестностью. Вновь призванные волонтеры, с восторженными лицами, одетые в коричневое домотканное сукно, медленно двигались по улицам, крича и распевая песни, неся впереди свое истрепанное в боях знамя. Они знали, что пойдут во главе болгарского нашествия на Македонию. Им это говорилось по крайней мере в двадцати речах, произносимых с балкона военного клуба, со ступеней собрания и памятника «царю-освободителю».

В следующее воскресенье, шестого сентября, был национальный праздник—тринадцатая годовщина объединения Болгарского королевства. Напечатанная программа парада гласила, что ополчение и войска софийского

гарнизона примут в нем участие. В субботу вечером один торговец лесом сообщил мне, что он получил от правительства приказ разгрузить в течение четырех часов двенадцать вагонов леса и передать эти вагоны в распоряжение правительства. Поздно вечером почти все извозчичьи лошади были реквизированы для военных нужд. В эту самую ночь македонцы таинственным образом исчезли, и когда парад начался утром, софийский гарнизон,—люди, лошади и артиллерия,—тоже исчез, за исключением двух рот. После обеда была большая демонстрация, устроенная штатским населением; произносились воинственные речи; вечером студенты устроили процессию с факелами и пением македонских песен. Боже! до чего переполнено было «Гран-Кафэ» журналистами и политическими деятелями. Но, несмотря на национальное торжество и критическое положение в стране, нигде не было заметно возбуждения.

В Софии никогда его не бывает: болгары—спокойный, не эмоциональный народ.

Даже демонстрации выходили правильно-организованными, методическими, люди двигались как стадо баранов. Лидеры партий и политические деятели отказывались давать интервью, а когда это случается в Болгарии, это значит, что дело обстоит серьезно.

Оппозиция опоздала, и напрасны были ее усилия найти поддержку, чтобы остановить неодолимый ход событий.

Последний акт «coup d'état» (государственного переворота) был краток и драматичен. В пятницу, 18 сентября, лидеры оппозиции, являвшиеся представителями шести из одиннадцати болгарских политических партий, имели совещание с королем. Цанков — представитель

двух радикальных партий, Данев—представитель прогрессивно-либеральной партии, Стамболийский — аграриев, Гешов—националистов, и Малинов—демократов, были приняты его величеством в присутствии секретаря, доктора Добровича, и наследного принца Бориса. Малинов в своей речи указал, что военная ситуация в Европе и политическая ситуация в стране таковы, что для Болгарии чрезвычайно рискованно вступать в войну на чьей бы то ни было стороне. Он твердо верит в непреклонный нейтралитет. Но если правительство полагает, что участие в войне обеспечит Болгарии осуществление национальных идеалов, его избиратели желали бы, чтобы вступление в войну совершилось на стороне держав согласия. Затем Стамболийский представил меморандум, который содержал следующие требования:

«Первое. Чтобы правительство не предпринимало никаких действий, не созвав собрания и не выслушав желания народа.

«Второе. Чтобы, прежде чем будут предприняты какие-либо действия, был образован коалиционный кабинет (по примеру Англии и Франции) с расширенным количеством министров, для того, чтобы в нем могли быть представлены все одиннадцать партий.

«Третье. Чтобы корона представила правительству, находящемуся у власти, требование оппозиции с резолюцией короля».

Гешов выступил, стараясь при помощи цифр и вычислений доказать неизбежность конечной победы «союзников». «Момент для нашего вступления в войну еще не назрел»,—сказал он. Цанков в своей речи подтвердил все вышесказанное, и после дискуссии по уточнению

пунктов меморандума король, принц Борис и Добрович удалились для приватного обсуждения вопроса.

Когда они вернулись, то из слов доктора Добровича стало ясно, что правительство решило действовать, опираясь на информацию, которую нельзя было предать гласности.

— Неужели же вопросы, касающиеся самых существенных интересов народа и страны, должны остаться в тайне?—вспылил Стамболийский.

— А я и не знал, что вы являетесь представителем народа,—обратился король к нему.—Почему же вы никогда не заходили ко мне раньше?

— Потому что это запрещают демократические принципы моей партии,—ответил Стамболийский,—но я отбрасываю принципы, когда страна в опасности. Позвольте мне напомнить вашему величеству, что династии, которые пренебрегают желаниями народа,—недолговечны!

— Моя голова стара,—ответил король,—и немного стоит, но вы бы хорошо сделали, если бы поберегли свою.

Напрасно старались Гешов и Малинов успокоить расходившиеся страсти.

Цанков тоже потерял терпение и присоединился к Стамболийскому. «Все они,—передавал наблюдатель,—порядком погорячились и погорланили». Наконец король встал и сказал очень серьезно:

— Милостивые государи! Я представлю ваши требования правительству. Могу сказать вам, что мы избрали политическую линию, которая будет твердо и неуклонно проводиться. Стамболийский! Я очень рад, что наконец познакомился с вами.

Два дня спустя мы выехали из Софии в Ниш, а через три дня в Болгарии была объявлена мобилизация.

СНОВА СЕРБИЯ И ГРЕЦИЯ

Четверть часа спустя после выезда из Софии поезд опять погружается в глубокую теснину между вздымающимися ввысь горами и ныряет в тоннель за тоннелем. Каменистые уступы, изумительно окрашенные в красные, коричневые и нежно-серые тона, напоминают своей формой притаившихся животных. К югу на фоне неба вырисовываются морщины Балкан, окутанные синеватой дымкой. Это колыбель сильных, мужественных людей-бойцов. Через два часа мы уже миновали перевал, и поезд, скрипя, спускается вниз, вдоль горного потока, брызжущего пенистыми каскадами. Перед нами открывается небольшая долина—жаркая и сухая, окруженная такими же жаркими, пустынными горами. Там расположен Цариброд—последняя болгарская станция, битком набитая военным снаряжением, запасами для армии и гудящая шумными голосами солдат. Цариброд—аккуратный городок с опрятными домами и общественными зданиями, с двумя фабриками, с хорошим шоссе, идущим на восток и на север, со школами, электрическим освещением и канализацией. Железнодорожная станция—тоже опрятная, вся выложенная бетоном, с любезным кассиром, который встретил нас так радушно четыре месяца тому назад. Он высовывается из своего окошечка, чтобы пожать нам руки. Поезд с ревом ныряет в тоннель и начинает извиваться среди

обрывистых, крутых гор. Там, где горы расступаются немного, раздвигая свои пустынные, раскаленные жарой уступы, лежит Пирот, первый сербский город.

Какой разительный контраст между этими двумя ближайшими родственниками—болгарами и сербами. Город расстилается перед вами, похожий на разросшуюся деревню—дома просторные, с широкими турецкими черепичными крышами; школы не видно. На грязной платформе, перед развалившимся станционным зданием, оживленно о чем-то спорят таможенный чиновник, начальник станции, в расшитом золотой тесьмой мундире, полисмен в красной с синим форме и два офицера. Все они, повидимому, совершенно забыли о поезде. Быстрые и гибкие звуки мелодичной сербской речи ударили наш слух, как струя свежей воды. Вокруг них, расположившись по-домашнему, без всякого этикета, столпились крестьяне-солдаты, одетые в потрепанные серые шинели и кожаные сандали, в характерных, вдавленных посередине, шапочках,—они прислушивались к спору и принимали в нем живое участие.

— Пашич!—яростно восклицал начальник станции.—Пашич! Разве это настоящий серб! Его отец был болгарин, а мать—турчанка. Кто может быть лучшим премьером, чем любой младо-радикал! Вот, я сам...

Таможенный чиновник хлопнул майора по плечу и громко расхохотался. Все солдаты тоже захохотали. Возле станционного забора шли запасные последнего призыва, они по одному человеку проходили через ворота, а унтер-офицер делал им перекличку по списку и отмечал каждого.

Среди них находились старики и юноши, одетые в самую разнокалиберную, свободно импровизированную

форму, в заплатанных «опанках» на ногах, но все в военных шапках и с новыми винтовками в руках. Юноша, не старше шестнадцати лет, настолько пьяный, что едва мог стоять на ногах, шел качаясь, поддерживаемый своей матерью-крестьянкой. Слезы катились по ее лицу, она вытирала пот с его лица, оправляла на нем одежду и похлопывала его по спине. Он направился прямо в спальный вагон. Полицейский схватил его за рукав:

— Куда лезешь!—заорал он.—Вперед, дальше! Ступай в теплушку!

Не говоря ни слова, юноша обнял его, и оба покатились на землю, размахивая руками и ногами. Кругом захохотали. Невероятно древний старик, с одной рукой, подошел, тяжело опираясь на палку, и тронул за руку седовласого гиганта с винтовкой. Тот обернулся, и они расцеловались. Слезы катились по лицу старика.

— Не пропускай болгар!—вопил он.

Таможенный чиновник вошел в наше купэ, взглянул на наши паспорта и даже не притронулся к багажу.

— Вы из Софии?—нетерпеливо обратился он к нам, садясь и предлагая папиросы.—Какие новости? Что там слышно? Вступает ли Болгария в войну? Лучше бы она воздержалась, мы через два дня будем в Софии!

— А если Австрия и Германия нападут на вас?

— Они уж раз попробовали. Пускай опять сунутся!

Когда поезд тронулся, громыхая, впереди нас послышалось солдатское пение, доносившееся из пяти теплушек, прицепленных к поезду.

Первое впечатление, которое вас охватывает после переезда греческой границы,—это впечатление толпы менял, чистильщиков сапог, торговцев шоколадом,

фруктами и старыми, вышедшими неделю тому назад, газетами,—хитрых, смуглых, маленьких торговцев со скачущей, быстрой речью и живыми, пронзительными глазами.

Три года тому назад в этой пустынной горной долине южной Македонии совсем не было греков; теперь—здесь все греческое. Это происходит в каждой вновь завоеванной греческой стране.

Все, кроме простых крестьян, обрабатывающих землю, вытесняются благодаря суровой экономической конкуренции, и даже эти самые крестьяне вынуждены работать на тех же греков. Румыны—веселый, изящный народ; болгары—честны и радушны; сербы—остроумны, храбры и полны очарования; после них греки кажутся тупым, недружелюбным народом, не имеющим никакого специального «букета».

Я, пожалуй, опросил не меньше сотни солдат, как они относятся к войне. Характерной особенностью Балкан является жгучая ненависть к ближайшим иноземцам. Ненависть греков к сербам не выходила за пределы обычного, но когда я заговорил о болгарах, эта ненависть вспыхнула ярким, живым огнем. Они почти все без исключения боготворят Венизелоса, но готовы голосовать против него, так как считают, что он хочет их втянуть в войну, а греки не желают воевать. Но в то же время греки очень сентиментальны; стоит помахать перед ними флагом и крикнуть: «Слава!»—как они без оглядки ринутся на войну.

Греческое честолюбие и притязания — беспредельны. Они считают себя потомками афинян времен Перикла, наследниками Византийской империи и завоеваний Александра Македонского. Передовица, взятая из греческой газеты, характерна для их настроения: «Греция,

обладающая пятитысячелетней историей и являющаяся колыбелью западной культуры, не может позволить, чтобы ее превзошли другие нации, которым удалось собрать своих детей и властвовать над ними, как Пьемонт властвует над Италией, а Пруссия над Германией. Народ эллинов не может показать себя неспособным, бессильным и не должен оказаться ниже некоторых новых государств, вроде Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, представляющих собой мозаику из варваров—выходцев из Малой Азии».

И все эти высокомерные фразы пишутся, несмотря на то, что новогреческие провинции плохо управляются подкупными чиновниками и что сами Афины—клоака лжи, подкупа и взяточничества. Характерным примером служит железнодорожный чиновник, подкупленный немцами, чтобы задержать мобилизацию греческой армии. Следует также вспомнить, что в первый же раз, как возник вопрос о греко-сербском договоре, Греция отказалась выполнить свои обязательства...

В последний день моего пребывания в Салониках у выхода из бухты показалось большое черное облако. Истребитель подошел на всех парах к городу и бросил якорь против набережной. В трех спущенных шлюпках сидели английские офицеры в походной форме, с красными петлицами, отличающими штабных; с ними двадцать пять ящиков и сундуков, у двух матросов винтовки с примкнутыми штыками. Багаж сложили на улице, а офицеры прошли в «Отель-де-Ром». Через четверть часа по городу распространился слух, что в Салониках находится генерал Гамильтон. Возбуждение охватило греческие власти. Вокруг двух часовых, сторожащих багаж, образовалось торжественное, мрачное кольцо

полицейских; густая толпа народа молчаливо наблюдала за ними. Срочные телеграммы полетели в Афины, растерянные власти хватались за голову: «Что все это значит? Что нам делать?»

В это время мы наткнулись на курьера английского короля, возвращавшегося домой через Италию с важными депешами из балканских стран. Он порядочно размяк от неумеренного употребления виски с содой, и мы все вместе отправились завтракать в «Отель-де-Ром».

Невдалеке от нас сидел генерал—высокий, бронзовозагорелый, плотный англичанин с седыми усами,—его окружал весь его штаб. Он и курьер раскланялись друг с другом. Несколько минут спустя к нам подошел лакей.

— Генерал Гамильтон желает поговорить с королевским курьером.

Наш приятель встал, покачиваясь, и пошел к нему. Вскоре он вернулся обратно, придерживаясь за стулья и с трудом пробираясь между столиками. Он сел к столу и усмехнулся.

— Ужасно забавно,—беспомощно сказал он,—старый обманщик хочет, чтобы я немедленно поехал в Афины и там обратился за инструкциями к английскому послу.

— Будь они прокляты,—прибавил он,—за каким чортом меня сюда прислали?.. Приехал сюда—и ни слова... никаких инструкций. Какого чорта они от меня хотят?

В тот же вечер мы сели на пароход, идущий в Пирей, и—домой.

На следующее утро, плывя между далекими островами, что лежали на море, как легкие облака, мы встретили двенадцать направлявшихся в Салоники транспортов с английскими войсками.

ИНСТИТУТ... №

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

А. Старчаков. Предисловие 5
Предисловие автора 11

Салоники

Земля обетованная 17
Восточные ворота войны 30

Сербия

Страна смерти 43
Военная столица 55
К фронту 62
Белград под австрийскими пушками 73
Вдоль фронта 83
Истребленная нация 93
Гутчево и долина трупов 98

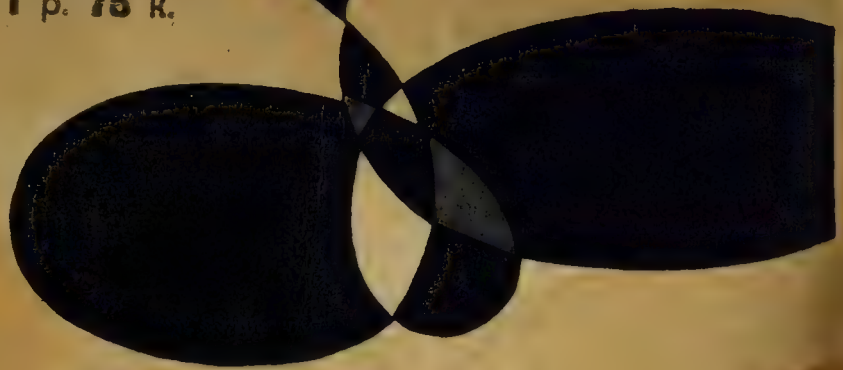
Россия

С черного хода 113
Жизнь в Новоселице 125
Мы попадаем в Буковину 133
Залещики — город ужаса 141
Вдоль русского фронта 148
Лемберг перед приходом германцев 163
Оптимистическое паломничество 170
Арест à la russe 177
Под арестом в Холме 186
Дальнейшие приключения в плену 195
Лицо России 204

Стр.
Национальная «промышленность» 215
Патриотическая революция 222
Петроград и Москва 230
Константинополь
На пути к «городу императоров» 239
Константинополь при немцах 247
Сердце Стамбула 260
Интервью с принцем 274
Балканы в огне
Румыния на распутье 285
Болгария вступает в войну 299
Снова Сербия и Греция 319

3075

Цена 1 р. 75 к.



Русское 207

227 – [illegible]

168 Русская [illegible]